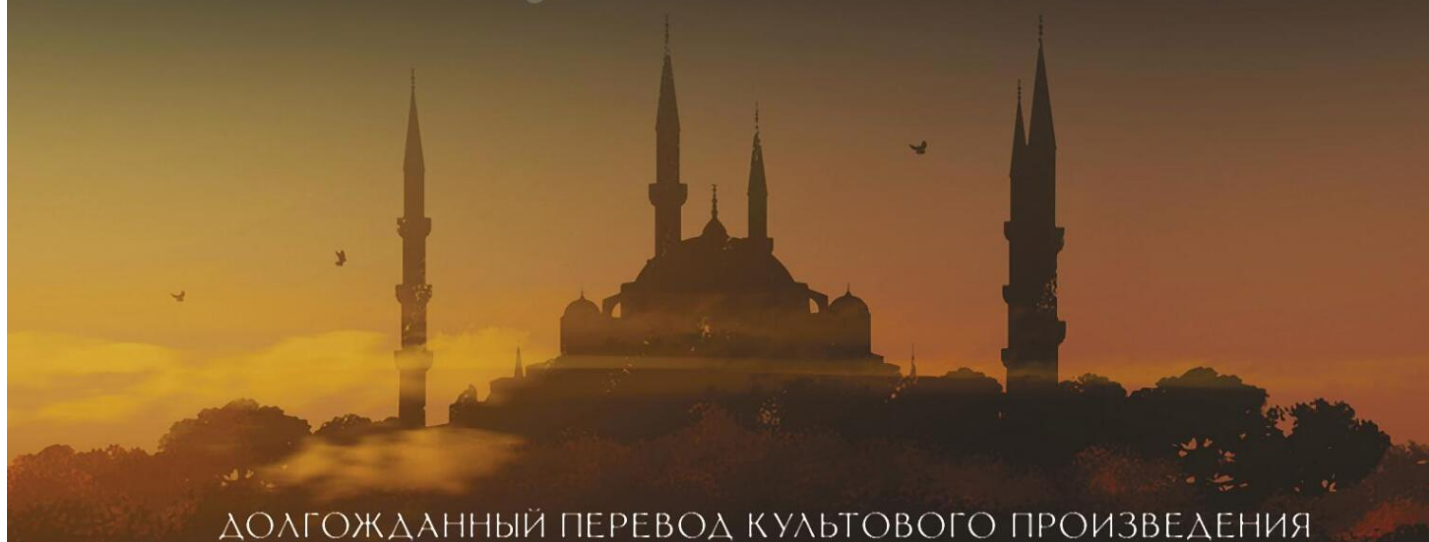


ХАЛИТ ЗИЯ УШАКЛЫГИЛЬ



ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ



ДОЛГОЖДАНЫЙ ПЕРЕВОД КУЛЬТОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Великолепная Турция: любимые мелодрамы

Халит Зия Ушаклыгиль

Запретная любовь

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.512.161
ББК 84(5Туц)-44

Ушаклыгиль Х.

Запретная любовь / Х. Ушаклыгиль — «Издательство АСТ»,
2023 — (Великолепная Турция: любимые мелодрамы)

ISBN 978-5-17-150955-2

«Запретная любовь» — роман о любви, которой не всегда суждено быть свободной. Юная Бихтер выходит замуж за богатого вдовца сильно старше себя. Она мечтает об обеспеченной жизни и высоком социальном статусе, но еще не знает, какова будет плата... Близость с нелюбимым мужем быстро оказывается для нее ужасной, а деньги больше не делают её счастливой. Девушка понимает, что нуждается во взаимной любви и страстных чувствах и находит того, кто способен ей это дать. Бихтер влюбляется в племянника мужа — красивого, дерзкого и ветреного молодого человека. Страсть вспыхивает как пожар, в пламени которого рискуют сгореть оба... Удастся ли героям справиться со всеми трудностями на их пути? И смогут ли они найти истинное счастье в своей любви?.. История трагичной и нежной любви, выбора и подлостей, на которые способен пойти человек.

УДК 821.512.161

ББК 84(5Туц)-44

ISBN 978-5-17-150955-2

© Ушаклыгиль Х., 2023

© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	24
Глава 3	34
Глава 4	48
Глава 5	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Халид Зия Ушаклыгиль

Запретная любовь

Роман

Halit Ziya Uşaklıgil
Aşk-I Memnu

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Каменева О., перевод 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *



Глава 1

Ялик из красного дерева снова так близко проскользнул от их лодки, что чуть было не задел ее бортом. В последнее время эти случайные встречи стали настолько частыми, что, казалось, они этого даже не заметили. Возвращавшиеся из Календера¹ изящные, нарядно одетые пассажирки белого ялика не выказали ни малейшего волнения, даже не вскрикнули от страха: Пейкер, сидевшая вполоборота, так, чтобы взору открывался вид и с правого, и с левого бортов, и головы не повернула в сторону промчавшейся мимо лодки; серьезное и озабоченное лицо Бихтер под белым покрывалом осталось совершенно бесстрастным; она повернулась спиной к берегу и задумчиво следила глазами за пароходом, распыляющим свой дым в сторону азиатского берега²; только их мать не осталась полностью равнодушной, она проводила ялик глазами, густо подведенными сурьмой, что в сочетании с крашеными светлыми волосами придавало неоднозначность ее взгляду, выражающему укор, но в глубине которого трепетала тайная благодарность.

Как только расстояние между яликами немного увеличилось, благочестивое безразличие женщин словно улетучилось, мать – она по-прежнему ощущала себя молодой, и это ощущение не удалось уничтожить сорока пяти годам, – следуя привычке принимать на свой счет все улыбки, расточаемые им в местах гуляний, заговорила первой:

– Снова этот Аднан-бей!..³ Это уже стало традицией. Стоит нам выйти из дома – и он тут как тут; ведь его не было сегодня в Календере, не так ли, Бихтер?

В недовольном тоне матери сквозило плохо скрытое удовлетворение. Бихтер оставила ее слова без ответа. Пейкер же, пропуская мимо ушей вопрос матери, заметила:

– Сегодня с ним нет детей. Какие у него прекрасные дети, не правда ли, мама? Особенно мальчик! Так и стреляет своими раскосыми глазенками.

Бихтер, не меняя позы, бросила через губу:

– Разве вы не были знакомы с их матерью? Девочка, должно быть, пошла в мать...

Взгляд Фирдевс-ханым⁴ застыл на секунду, она сделала вид, что не поняла намека, скрытого в вопросе Бихтер, затем обернулась и поискала глазами уже исчезнувший из вида ялик; снова поворачиваясь к Бихтер, на этот раз, следуя потоку своих мыслей, она сказала:

– Как странно он смотрит! Такой пристальный взгляд! Когда бы ни попался мне на глаза, он всегда смотрит...

Фирдевс-ханым на секунду запнулась. Вероятно, она собиралась сказать «на меня», но не могла позволить себе окончательно потерять свой и так уже сильно распатавшийся материнский авторитет и сочла необходимым выразиться осторожнее:

– ...в нашу сторону.

Заминка матери не укрылась от девушек. Пейкер и Бихтер многозначительно переглянулись, подавив смешок. Пейкер лукаво добавила:

– Да, он не отрывает глаз от Бихтер.

Девушки посмотрели на мать с интересом, наблюдая, какое впечатление на нее произвели эти слова, но та, не желая отвечать, отвернулась и устремила взор вдаль.

Вот уже тридцать лет – с пятнадцати до сорока пяти – Фирдевс-ханым из рода Мелихбея представляла это семейство, именно она внесла наибольший вклад в формирование осо-

¹ *Календер* – место гуляний на европейском побережье Босфора в Стамбуле, между Йеникёй и Тарабёй, очень популярное в прежние времена, в настоящее время утратило свое значение.

² Стамбул расположен на двух континентах, делится на азиатскую и европейскую части.

³ *Бей* – употребляется после имени, уважительное обращение к мужчине (*прим. пер.*).

⁴ *Ханым* – употребляется после имени, уважительное обращение к женщине (*прим. пер.*).

бой славы этого семейства и стала символом образа жизни, который вела публика, посещающая места гуляний в Стамбуле. Эта женщина, имя которой было у всех на устах и, казалось, никогда не исчезнет с повестки дня, с каждым годом все больше и больше цеплялась за уходящую молодость: опасаясь утратить былую свежесть, она красила волосы, чтобы скрыть седину, белила лицо, чтобы замаскировать убывающую гладкость кожи; она была настолько слепа в представлении о своем собственном возрасте, что, забывая о возрасте Пейкер и Бихтер, одной из которых было двадцать пять, а второй – двадцать два года, считала их еще совсем детьми, к которым просто не могли относиться все эти расточаемые в их адрес улыбки и комплименты, и все знаки внимания принимала исключительно на свой счет.

Это было причиной постоянных семейных стычек и вызывало насмешки со стороны дочерей, и, хотя это было пока не настолько явно, это повторялось каждый день; язвительные намеки Пейкер, безжалостная улыбка Бихтер, своей молодостью и красотой они словно бросали вызов сорока пяти годам, оставившим следы разрушения на лице их матери.

Эти язвительные слова, эти безжалостные насмешки навязчиво жужжали у нее над ухом, напоминая, что ей сорок пять лет, и она задумчиво, с горькой улыбкой на губах, смотрела на Пейкер и Бихтер, затем, отмахиваясь от этой реальности, возвращалась к обманчивому наслаждению своей вымышленной молодостью.

Вот уже четыре месяца ее мозг сверлила докучливая мысль. Скоро Пейкер сделает ее бабушкой. После того, как ее поставили в известность, мысль о том, что она станет бабушкой, превратилась в постоянно мучивший ее кошмар. Она не хотела в это верить. «Этого не может быть!» – твердила она себе.

Бабушка!

Женщины в семействе Мелих-бея и матерями-то становились через силу, стать бабушкой – уже как-то чересчур, это гадко и унижительно. Уже сейчас она искала выход из этого положения. Если уж сумела справиться с сединой в волосах и с морщинами на лице, она найдет средство и против того, чтобы называться бабушкой. Это должно быть нечто такое, что позволит ей навсегда забыть о своем возрасте: пусть ребенок называет свою мать старшей сестрой, а ее – матерью.

Почему судьбой ей уготовлено унижение представлять такое странное исключение из семейства Мелих-бея? Этот факт пугал ее, как пятно, что замазает всю ее жизнь, и она уже сейчас не скрывала неприязнь к Пейкер и к существу, которое собиралось сделать ее бабушкой.

После последних слов Пейкер в лодке воцарилось молчание. Казалось, все уже забыли об Аднан-бее.



Семейство Мелих-бея... Невозможно определить место, которое оно занимало в жизни Стамбула по общепринятым канонам общества. Что представляло из себя полвека назад это семейство, бывшее не столь знатного происхождения, чтобы однозначно утверждать, что оно относится к аристократическому миру, неизвестно, прошлое его сокрыто туманом. Возможно, если покопаться в родословной, среди членов семьи можно встретить кое-какие известные

имена, оставившие некий след в истории аристократической жизни – хотя это и представляется несколько сомнительным. Так что основная история жизни этого семейства начинается с Мелих-бея, под именем которого этот род и стал известен. Семейство Мелих-бея – это словосочетание стало нарицательным и заключало в себе все нравственные идеалы и жизненные принципы, из которых составлялся моральный облик этой семьи.

Кто же такой Мелих-бей?

Нет необходимости пытаться найти на этот вопрос четкий ответ. Мелих-бей после своей кончины не оставил ничего, что следовало бы сохранить и продолжить. Только ялы⁵ на азиатском берегу и женщин, живших в различных уголках Стамбула, но объединенных своей принадлежностью к семейству Мелих-бея, что придавало им особую исключительность.

Ялы Мелих-бея за пятьдесят лет пережила целый ряд эпохальных перемен. Кто знает, кому она сейчас принадлежит? Однако когда бы ни проплывали мимо ялы знатоки частной жизни обитателей Босфора, указующий перст в их сердцах поднимался и, вкладывая богатый, но несколько туманный смысл, провозглашал: «Ялы Мелих-бея!»

Казалось, праздничное веселье, некогда переливающееся через край и выплескивающееся из окон ялы, все еще звучало в мелодии волн, омывающих камни набережной, и воды Босфора по ночам по-прежнему сверкали и искрились, как источник райского наслаждения, которое они впитали в те времена. Поэтому те, кто был непричастен к истории ялы, проплывая мимо, могли ощутить лишь витающий вокруг нее аромат, тот авантюрный дух таинственного, неведомого им мира, и повторяли заворуженно:

– Да... ялы Мелих-бея!

Эта ялы в истории города заслужила звание оранжереи, выращивающей редкие, элитные цветы и украшающей аристократическую жизнь Стамбула лучшими образчиками своего урожая. Вот уже полвека, как женщины ялы расселились по различным районам этого большого города, но, хотя жили они и в разных местах, было то, что объединяло эти редкие прекрасные цветы и связывало в один большой букет – принадлежность в семейству. Это позволяло им всегда держаться на плаву, они не тонули и, словно кувшинки, плыли по реке перемен, воды которой влекли семью все дальше и дальше.

Женщины семейства Мелих-бея обладали удивительным свойством: стоило им породниться с какой-либо семьей, эта семья неизбежно становилась частью семейства Мелих-бея. Видимо в силу того, что сохранение исключительности этой семьи было возложено на женщин, судьба распорядилась так, что в этой семье рождались только девочки, и, если девушка из семейства Мелих-бея входила в чужую семью, она не могла позволить своей духовной личности быть замешанной в тесто этой новой семьи, поэтому уподобляла всех себе. Мало того, как только Фирдевс-ханым – один из прекраснейших цветков этой оранжереи, самого элитного сорта за всю историю семьи, – в возрасте восемнадцати лет вошла невестой на миниатюрную изящную ялы на Румелийском⁶ побережье – ту самую ялы, что сейчас выкрашена в светло-желтый цвет и на пристань которой после прогулки в Календер вот-вот должна была причалить белая лодка, – в качестве приданого она принесла с собой имя семейства, с того дня имя ее мужа все позабыли и называли его не иначе как: «Муж Фирдевс-ханым».

Как и другие девушки, ее родственницы, Фирдевс-ханым, опасаясь остаться без мужа, очень торопилась выйти замуж. Опираясь на соображения своего практического ума, со всей легкомысленностью своего характера, который не придавал важности ничему, кроме как хорошо одеваться и развлекаться в свое удовольствие, она решила во что бы то ни стало найти мужа – необходим был кошелек, который будет оплачивать ее наряды и экипажи. Желание

⁵ Ялы – деревянный дом или особняк непосредственно на берегу пролива Босфор в Стамбуле, подобные дома строились преимущественно в XVIII–XX веках.

⁶ Румелийское побережье – европейское побережье Стамбула.

окружающих людей держаться подальше от этой семьи все больше набирало силу и ограничивало возможности поиска мужа для девушек, желающих выйти замуж, только местами прогулок.

И вот однажды на Гёксу⁷ – как это произошло, неизвестно, – заговорили о браке Фирдевс-ханым. Эти слухи пролетели легким шепотом над несущими страсть водами реки, на своем пути они встречали удивление. Гёксу была словно ошарашена и изумлена этими слухами. Все восклицали в один голос:

– Так рано?!

Ей было всего 18 лет, Гёксу еще не успела вдоволь насладиться чудесным запахом этого бутона, который теперь оставит в утешение лишь тонкий аромат в память о себе... Однако уже через неделю, словно замужество не было тем событием, которое могло нарушить ее планы, Фирдевс-ханым снова появилась на Гёксу, чтобы как и неделю назад притягивать к себе взгляды, и вся река забурлила, вздохнув свободно, – на этот раз кружиться в веселом романтическом водовороте вокруг восемнадцатилетней красавицы можно было без опасения быть затянутым в пучину брака; Фирдевс-ханым приехала поприветствовать Гёксу, чтобы доказать, что, даже будучи замужем, она останется верна гуляньям, и все лодки жаждущих любви устремились за ее лодкой, так и повелось.

Пока Фирдевс-ханым искала мужа на Гёксу, она выглядела как рыбак, на крючке удочки которого болтался свинцовый грузик: там, куда она ее забрасывала, образовывались круги, которые постепенно все расширялись и расширялись, и каждый стремился, только слегка соприкоснувшись с кончиком крючка, сорвать немного наживки, а затем уплыть и оказаться за пределами этих кругов, предпочитая наблюдать со стороны, как будет пойман какой-нибудь простофиля. После того, как выяснилось, кто стал этим простофилей, любопытство было удовлетворено, и о существовании этого несчастного быстро позабыли. Теперь остался только рыбак, крючок удочки которого был сломан, только Фирдевс-ханым, которая в глубине души жаждала не столько поймать кого-то, сколько быть пойманной.

По правде говоря, в этом браке обманутой стороной оказалась Фирдевс-ханым, брак не принес ей ничего или столь мало из того, на что она рассчитывала, что она возненавидела этого человека, не оправдавшего ее ожидания. Этот брак не дал ей даже утешения удовлетворить наивные чаяния молодости. Действительно, в семейной жизни не сбылась ни одна мечта о любви из тех, что она лелеяла в молодости. Когда пожертвовав своими надеждами на любовь и пылкую страсть, увидела, что это самопожертвование никак не оценено противоположной стороной, Фирдевс-ханым испытала горькое разочарование и задумалась: «Раз все должно было произойти именно так, зачем все это?..» Задавая себе этот вопрос, она представляла молодых людей, которые были отвергнуты ею, поскольку были богаты, и задавала себе следующий вопрос: «Ну раз все так, почему я не выбрала одного из них?»

Фирдевс-ханым была абсолютно раскрепощенной особой, можно было даже сказать, что эта женщина полностью поменяла местами права и обязанности в браке и заняла место мужа. Не прошло и недели, как она превратила своего супруга в одного из семейства Мелих-бея.

Однажды во время прогулки по Гёксу прямо на глазах у мужа в лодку Фирдевс-ханым бросили букет цветов, внутри которого была спрятана записка в розовом конверте. В тот вечер ее муж впервые попытался устроить сцену ревности и потребовал отчета по поводу цветов и записки. Фирдевс-ханым одним только взглядом моментально пресекла все попытки затеять ссору.

⁷ Гёксу – название реки и места для гуляний в стамбульском районе Анадолухисар, особенно была популярна во второй половине XIX века, знаменита своими прекрасными видами лунной ночью (место прогулок влюбленных лунными ночами).

– Да, – подтвердила она. – Это цветы, а внутри письмо. Если хочешь, можешь прочитать. Я его еще не разорвала. И что дальше? Что ты сделаешь? Я не стану запрещать им бросать цветы и писать письма. По-моему, если что и нужно сделать, так не обращать на это внимание.

Потом она склонилась над мужем и, поведив указательным пальцем у него перед носом, добавила:

– И, мой вам совет: лучше не устраивайте мне сцен ревности, этим вы вынудите меня писать им в ответ.

Через два года родилась Пейкер, а еще через три – Бихтер. Для Фирдевс-ханым это было тяжким ударом. Теперь она почти каждый день сражалась с этим человеком, который дважды сделал ее матерью. Отныне любая мелочь могла стать поводом для объявления войны. Она превратилась во врага ему и детям – этим людям, которые хотели лишить ее молодости.

«Думаешь, я только и буду делать, что всю жизнь рожать тебе детей?» – этот вопрос, точно удар бича, обрушивался на мужа в самые неожиданные моменты. Он же покорно подставлял свое лицо под этот удар и, улыбаясь, ждал развязки ужасной ссоры. Невыносимо было видеть перед собой этого мужчину таким презренным, таким жалким, что добавляло к ее ненависти оттенок отвращения. Для обоих жизнь превратилась в нескончаемый ад.

Однажды, когда Фирдевс-ханым вернулась из Стамбула⁸ и вошла в свою комнату, она застыла от неожиданности, пораженная развернувшейся перед ней картиной: замки на ее ящиках были сломаны, по всей комнате были разбросаны ее белье, ленты, платки. Вдруг среди всего этого она увидела смятые, разорванные клочки бумаги и все поняла.

Наконец-то ее муж спустя годы обнаружил, что в нем есть еще капля мужской гордости, и вскрыл ящик, хранивший тайны ее частной жизни.

В гневе и бешенстве, не медля ни минуты, она выскочила из комнаты и в дверях наткнулась на Пейкер – свою старшую дочь, тогда ей было восемь лет:

– Мама, папа упал в обморок, он болен.

Схватив ребенка за руку, она вбежала в комнату мужа. Она хотела выплеснуть ему в лицо всю ненависть, накопившуюся за годы их совместной жизни, окончательно все разрушить, разорвать все связи, но, ворвавшись в комнату, замерла, увидев распластанное на кровати тело, сраженное молниеносным ударом. Он перевел глаза на жену, в них был упрек за всю его замаранную жизнь. Фирдевс-ханым впервые было нечего ответить мужу. Она стояла ошеломленная, с дрожащими губами; не в силах отвести взгляд, женщина смотрела, как из глаз мужа катятся две безмолвные слезы.

Через неделю она уже была вдовой. Потеряв мужа, она вдруг почувствовала к нему жалость, даже некоторую любовь. Она признавала, что частично причастна к смерти мужа. Однако это не помешало ей уже через месяц показаться в местах гуляний. На этот раз ее цель, о достижении которой она мечтала еще десять лет назад, засверкала с новой силой: найти денежный мешок, но такой, чтобы можно было из него без счета черпать горстями.

И вот годы текли, немилосердно, как сквозь пальцы, и надежда на роскошный блеск этого кошелька, сверкающего золотыми искрами перед мечтательным взором Фирдевс-ханым, постепенно угасала в ревнивых руках судьбы.

Когда Пейкер сказала про Аднан-бея: «Да, он не отводит глаз от Бихтер», сердце ее сжалось. Значит, этого у нее уведет Бихтер?

Сначала Пейкер, теперь Бихтер... В ее глазах дочери были соперницами, врагами, которые, постепенно отбирая у нее надежду, жаждали ее смерти.

Замужество Пейкер стало для нее страшным ударом. Когда об этом впервые зашла речь, она восстала против затеи дочери выйти замуж, тем более, что Пейкер хотела вступить в брак по любви. По мнению Фирдевс-ханым, это было равносильно преступлению. Довольно долго

⁸ Имеется в виду центральная европейская часть города, жизнь на ялы рассматривалась как загородная жизнь (*прим. пер.*).

ей удавалось препятствовать замужеству дочери, но, когда Пейкер пригрозила убежать, мать обессилено опустила руки и, приняв свое поражение, дала согласие. Существование зятя, который обращался к ней почтительно-официально – валиде-ханым-эфенди, сначала доставляло ей боль, словно она мгновенно состарилась, со временем эту жгучую боль потихоньку присыпало пеплом, но теперь перед угрозой стать бабушкой пепел готов был вспыхнуть снова.

Бихтер легко выпрыгнула из лодки и подала Пейкер руку. С тех пор как Пейкер узнала, что беременна, ей стало нравиться принимать такие маленькие знаки внимания, и хотя срок был еще не настолько велик, чтобы почувствовать тяжесть, в ее походке и в поведении ощущалась некоторая преувеличенная слабость, словно ей не хватало сил, и она нуждалась в помощи. Сестры остановились на пристани, дожидаясь мать. Та же, напротив, хотела продемонстрировать, что не нуждается ни в чьей помощи. С неожиданной для ее комплекции легкостью она поднялась со скамьи и спрыгнула на пристань.

Теперь, когда все трое стояли рядом, нельзя было не заметить то редкое изящество, с которым были одеты женщины.

Искусство красиво одеваться... Вот что помимо умения со вкусом развлекаться отличало женщин семейства Мелих-бея. В их нарядах читались особое изящество и стиль, которым завидовали и стремились подражать все ценители вкуса, но – по неведомой причине – никому из них так и не удалось сравниться с ними в элегантности нарядов.

Никто не смог бы сказать наверняка, как далеко члены этого семейства, известнейшими из которых на сегодняшний день были Фирдевс-ханым и ее дочери, заходили в своих развлечениях. Особая слава, которой они пользовались в светских кругах Стамбула, поднимала их на столь недостижимую ступень, что никому и в голову не приходило выискивать тому причины и оспаривать их превосходство. Их знали все завсегда: Гёксю, Кягытхане⁹, Календера, Бендлер¹⁰; в лунные ночи на Босфоре больше всего преследовали их лодку, чаще всего дежурили под окнами их ялы, стараясь уловить звуки пианино, следили за изящными силуэтами, мелькавшими за занавеской, пытались разгадать, что скрывается за этими окнами.

На лугах Бююкдере¹¹ их экипаж провожали взглядами; где бы они ни появлялись, все головы поворачивались в их сторону. В воздухе проносился интригующий шепот: «Семейство Мелих-бея», вызывая у всех любопытство, словно из вибрации этого шепота рождался смысл, завуалированный флером таинственности.

В чем же дело? Никто не был в состоянии четко сформулировать, почему так сложилось, и дать этому исчерпывающее объяснение. Ходили кое-какие слухи, которые принимались всеми как есть в силу того, что люди склонны легко верить в то, что может очернить других, не утруждаясь докапываться до правды. Ведь, если начать копать, можно обнаружить доказательства, что все это неправда, и тогда придется отказать себе в удовольствии верить в эти сказки, поэтому многие предпочитали принимать эти слухи в том виде, в котором они преподносились.

Чем больше они игнорировали эти разговоры, тем больше о них судачили. Каждому их выходу, каждому взгляду приписывался особый смысл. Однако нельзя сказать, что им не нравилось то, что они были предметом обсуждения. В ответ Фирдевс-ханым лишь пожимала плечами и говорила: «Послушать людей, так вообще ничего нельзя делать; мало ли, что думают люди, человек волен жить так, как ему нравится», и это выражало всю философию семейства.

⁹ *Кягытхане* – река на северо-западе Стамбула, впадает в Золотой Рог, а также место гуляний, наиболее популярное в период тюльпанов (1718–1730 г.г.), на момент написания романа утратило свое значение.

¹⁰ *Бендлер* – водохранилища, построенные в южной части Белградского леса на северо-западе Босфора с целью обеспечения города водой.

¹¹ *Бююкдере* – большой луг с левой стороны дороги, ведущей от Бююкдере к Бендлеру, место для гуляний между Киреч Бурну и Сарыйером на северо-западе Босфора.

И все-таки что бы там ни говорили, именно они на протяжении полувека воплощали дух изящества в местах гуляний. И это качество, бывшее в крови у всех членов семейства, возводило их в степень самых элегантных женщин Стамбула. Как того и требовал их образ жизни, они постепенно познали тайны искусства одеваться с неизъяснимой утонченностью, которая была заложена в природе всех женщин семейства, с гениальностью, которую нельзя было выразить определенными правилами и которая руководствовалась вдохновением весьма изысканного вкуса. Все, что они надевали – от нижних рубашек до пече¹² на их лицах, до цвета перчаток, до вышивки на носовых платках, был присущ такой исключительный вкус, что рядом с изысканной простотой их нарядов самые роскошные платья, на создание которых было потрачено невероятное количество усилий, казались примитивными. Когда они появлялись, невозможно было не заметить эту красоту, но никто не мог постичь, как она достигалась.

Вроде бы все как у всех: вот светло-серые перчатки с черной отделкой от «Пигмалиона»¹³, вот туфли из козьей кожи от «О Лион д'Ор»¹⁴, черные сатиновые чаршафы¹⁵, практически такие же, как и те, что у всех остальных, – от «Лиона»¹⁶...

Но эти вещи, что вроде бы были как у всех, так безукоризненно сочетались друг с другом, и над ними, словно окутывая их, витал такой дух утонченности, что это придавало самым заурядным вещам оттенок исключительности, свойственный другому неведомому миру. То, в чем другие не могли равняться с ними, – не вещи, которые они носят, а то, как они их носили. В том, как они закрепляли пече, было столько легкости и живости, что даже пече выглядела иначе, чем у других. Например, одна из них однажды забыла застегнуть пуговичку у перчатки: белоснежное запястье, на котором тонкие изящные браслеты, украшенные миниатюрными жемчужинами и рубинами, чередовались с серебряными и золотыми цепочками, лишь на секунду по случайной небрежности показалось из-за завернувшегося края подкладки перчатки, но забыть это запястье было уже невозможно. Их мгновенно узнавали только по тому, как чаршаф струился по плечам и фигуре.

Они примечали все, что видели вокруг, брали на заметку отдельные детали, а потом, сочетая их так, что те дополняли друг друга, создавали совершенно новый образ, и этот образ настолько был непохож на другие, что это делало его особенным. Они – мать и дочери – часами могли обсуждать наряды, спорить, а после наконец расходились, испытывая радость от нового открытия, словно астроном, нашедший неизвестную звезду.

Бывало, их вдруг охватывало желание увидеть что-то новое. Повинуясь внезапному порыву, они отправлялись в Бейоглу¹⁷ посмотреть на только что полученные ткани, прохаживались от Тунеля до Таксима¹⁸, разглядывая и оценивая чужие наряды, выискивая способы воплотить свои новые задумки, словно художник, что едет на природу за вдохновением. Иногда под предлогом необходимости купить какую-нибудь мелочь, они заходили в магазин, где проводили часы за обсуждением расстеленных перед ними тканей.

¹² Пече – покрывало на лице турецких женщин в Османской Турции (*прим. пер.*).

¹³ «Пигмалион» – универсальный магазин, центральный находился на проспекте Истикляль в Бейоглу, филиал – в начале Галатского моста.

¹⁴ «О Лион Д'ор» – обувной магазинчик на проспекте Истикляль рядом с магазином Лион. До 1950 г. поменял несколько владельцев, в настоящее время называется просто Лион, торгует тканями и фурнитурой.

¹⁵ Чаршаф – длинное покрывало, закрывающее голову, часть лица и скрывающее очертания фигуры (*прим. пер.*).

¹⁶ «Лион» – торговая фирма, командитное товарищество, основано семьей австрийских евреев Найлперн в 1896 г. на проспекте Истикляль в Бейоглу, существует и в настоящее время.

¹⁷ Бейоглу – район Стамбула на северо-востоке Золотого Рога, граничит с районами Галата, Бешикташ, Шишли, Касым-паша.

¹⁸ От Тунеля до Таксима – один из главных проспектов Бейоглу Истикляль, его западная точка – Тунель – исторический фуникулер Стамбула, восточная – площадь Таксим (место, откуда распределялась вода по городу), как и в былые времена, Истикляль – оживленная пешеходная улица, на которой расположено большое количество магазинчиков и развлекательных заведений.

Не понравившиеся ткани они небрежно отодвигали тыльной стороной ладони; а иногда и только взглядом выносили им приговор, руководствуясь внутренним чутьем, которое их никогда не обманывало; затем те ткани, которые они сочли достойными внимания, одним движением руки они мастерски расстилали на прилавке, придирчиво их разглядывали и экспериментировали с ними, решая, что лучше сшить. Против их метких точных оценок было трудно возразить, поэтому в магазинах к их мнению прислушивались, проявляя уважение подмастерья к мастеру. Каждое их замечание воспринималось как мнение эксперта, и по большей части сами хозяева магазинов часами раскладывали перед ними ткани не столько с целью продать их, сколько иметь удовольствие выслушать их мнение. Их встречали не как клиентов, а как тонких знатоков искусства, которые среди тысячи предметов обязательно выберут то, что следует приобрести; тому, что они покупали и что им нравилось, отводили особое место. Прочим покупателям говорили: «Как вам могло не понравиться? А вот дамы из семейства Мелих-бея оценили это очень высоко», и это был веский довод, который тотчас поднимал ценность ткани.

Самым большим секретом их искусства было то, что им удавалось одеваться удивительно дешево. Собственно говоря, финансовые возможности семьи были таковы, что это было неизбежное условие. Особенное внимание они уделяли нарядам для прогулок. Места гуляний были самым простым и доступным местом, где они могли продемонстрировать свое изящество. Так сегодня в Календере был торжественно представлен новый наряд. Нужно было изобрести предмет одежды, который в первый раз можно было бы надеть только на лодочную прогулку. Таким предметом стала пелерина из легкой бело-розово-лиловой ткани, которая накидывалась на плечи, спускалась на несколько пальцев ниже локтей и была прихвачена в нескольких местах лентами также бело-розово-лилового цвета.

Волосы прикрывал шарф – довольно узкий, но длинный – из тонкого японского шелка, края которого были обшиты кружевом, имитирующим старинные кружева, он оборачивался вокруг шеи, и длинные кисти из белого шелка на его концах частично скрадывали роскошь пелерины, которая могла бы показаться излишней и вызвать осуждающие взгляды. Юбка из розово-лиловой тафты служила логическим довершением к пелерине, хотя на самом деле была ничем иным, как юбкой, которую носили только дома.

Мать была одета иначе. Вот уже некоторое время ей не нравилось, как одевались дочери, и она хотела отличаться от них. Разногласия между ними выражались и в одежде. Причиной этих разногласий была разница в возрасте, она укоряла дочерей в неумеренности и в безвкусице, но на самом деле, когда ей удавалось быть честной самой с собой, она понимала, что, одевайся она так же, как дочери, это будет выглядеть смешно. Поэтому сегодня она тоже изобрела нечто новое, отомстив им тем, что не стала надевать пелерину. Она надела легкий светло-коричневый йельдирме¹⁹ без рукавов, который облегал верхнюю часть туловища до талии, драпируясь тонкими мелкими складками, и от талии струился широкими волнами, а в качестве детали, которая отличала бы плащ от других подобных, набросила на плечи башлык, концы которого с изящными шелковыми кистями закинула за спину.

Этот башлык вызвал у Пейкер и Бихтер целый поток насмешек. Когда мать одевалась по одному с ними образцу, они подтрунивали над ее бесконечным стремлением выглядеть моложе, теперь же, когда она решила от них отличаться, насмешки приняли другое направление. Когда ей пришла в голову идея с башлыком, они сначала всерьез удивились: «Но зачем, мама, неужели вы не станете надевать шарф, а наденете башлык?» Та, отстаивая свою затею, отвечала: «Нет, он будет просто лежать на плечах. Представь, Пейкер... Довольно большой капюшон, края которого обвязаны кружевом того же цвета. Помните? Как башлык, который носят дети, но более заметный, экстравагантный!» Их не удовлетворили эти объяснения, и вопросы из серьезных стали язвительными:

¹⁹ *Йельдирме* – легкий плащ, который носили женщины вместо чаршафа, надевался в сочетании с покрывалом на голову.

- Но, если вы не собираетесь его надевать, зачем на плаще башлык?
- Как зачем? Если вечером станет влажно и прохладно, его очень даже можно надеть.
- Зачем тогда на дневное платье надевать башлык, который используют только вечером?

К тому же вечером его все равно никто не увидит...

Эта дискуссия настолько затянулась, что привела, как это часто бывало в беседах с матерью, к тому, что она обиделась, разрыдалась и дулась на них шесть часов. Постепенно право наряжаться отбиралось у нее, и мать, которая сталкивалась с осуждением дочерей там, где, казалось, они должны были ее поддерживать, выходила из этих регулярно повторяющихся споров со слезами, как слабый беспомощный ребенок. Нервы этой в прошлом раздражительной и склочной женщины теперь сдавали, ее было легко задеть, и она готова была расплакаться по самым нелепым поводам. Ее дочери, с каждым днем хорошеющие и расцветающие, являлись для нее вещественным доказательством ее возраста и воплощенной насмешкой над нею. Собственно говоря, отношения между тремя этими женщинами, которые никогда не были особенно теплыми, как это должно быть свойственно отношениям между матерью и дочерьми, не выходили за пределы соперничества.

Сегодня, когда она шла впереди в своем новом плаще, стараясь достойно нести свое тело, которое уже растеряло легкость и стало полнеть, обретая тучность, сестрички, следовавшие за ней, посмеивались, косясь на ее башлык. Пейкер, будто бы устала нести бремя своего состояния, с несколько преувеличенной показной слабостью шла, слегка опираясь на белый зонтик, как на трость. На Бихтер были пелерина из тонкого шелка, белая пикейная блузка и юбка; пелерина спускалась с плеч, казавшихся слегка широковатыми по сравнению с тонкой талией, не доходя на два пальца до черного пояса, скреплявшего блузку и юбку; зонтик она держала, обернув перчаткой, снятой с правой руки. Она шла в светлых туфлях на низком каблуке, и тонкий шелк пелерины трепетал и переливался, а подол юбки плавно покачивался из стороны в сторону в такт ее походке; казалось она едва касалась земли. И хотя сестры шли с одной скоростью, создавалось впечатление, что одна плывет, а другая летит.

Они обогнули угол набережной. К пристани, издавая громкие гудки, причаливал паром, приплывший с противоположного берега. Вдали на голых землях Пашабахче дрожали бледной густотой вечерние тени бухта, простиравшаяся перед ними, поджидая этот последний паром, готовилась отойти ко сну. Обычно они выходили из лодки немного поодаль и шли пешком до дома. Вдруг Бихтер, показывая зонтиком в сторону малюсенькой ялы, выкрашенной в светло-желтый цвет, окликнула Пейкер:

- Посмотри-ка, это, кажется, твой муж.
- Да, – ответила Пейкер, приостановившись. – Наверное, он сегодня не выходил.

Девушки и молодой человек, стоявший на наружной крытой галерее, издали обменялись улыбками. Пока они приближались, Нихат-бей, облокотившись на перила галереи, своей широкой улыбкой словно бы притягивал их поскорее к дому.

- Эниште²⁰ явно есть что рассказать. Посмотри, как он улыбается, – заметила Бихтер.

Не в силах сдержать любопытства, они, не входя в дом, остановились под балконом. Все смотрели на молодого человека вопросительно, он же не говорил ни слова, улыбка не сходила у него с лица. Пейкер не выдержала:

- Не могу больше, ну почему вы улыбаетесь, что случилось?

Он, не меняя позы, лишь пожал плечами:

- Да так. – А после добавил: – Пойдемте в дом, расскажу. Потрясающая новость!

Сестры ринулись в дом. Фирдевс-ханым, не торопясь, вошла за ними.

²⁰ *Эниште* – зять по отношению к сестре жены, степени родства принято использовать в семейном общении: в разговоре и обращении.

Нихат-бей, с непокрытой головой, в просторном жакете из белого хлопка и в мягких матерчатых туфлях на ногах, спускался по лестнице им навстречу.

Бихтер сбросила покрывало, борясь с крючком. Пейкер стягивала перчатки. Фирдевс-ханым со скрытым вздохом облегчения «О-о-х» села на стул, и Нихат-бей снова повторил то, что он начал говорить на галерее:

– Потрясающая новость! – Почувствовав, что захватил внимание женщин, он провозгласил словно благую весть: – Бихтер выходит замуж!

Все застыли от неожиданности. Первой очнулась Бихтер, после пятисекундной паузы она нарушила молчание и, продолжая расстегивать крючок, спросила:

– Вы шутите?

Мать и Пейкер ждали продолжения.

Нихат-бей, осознавая важность новости, которую собирался сообщить, поднял руку и как оратор, выступающий с речью перед публикой, уверенный в том, что произведет впечатление, с торжественным видом изрек:

– Сейчас, здесь, десять минут назад официально попросили руки Бихтер. А я официально сообщаю вам и особенно Бихтер об этом.

Он преподнес эту новость как нечто серьезное и окончательно решенное, и пока Бихтер в стороне с равнодушным безразличием к этому разговору швыряла перчатки и шарф на пелерину, Фирдевс-ханым и Пейкер разом спросили:

– Кто?

– Аднан-бей!

Это имя прозвучало для Бихтер как удар грома, она вздрогнула и обернулась к зятю. Фирдевс-ханым застыла как статуя с открытым ртом, пытаясь понять, не шутка ли это. На языке у нее вертелся вопрос: «Он хочет Бихтер?»

«Вы уверены?» – чуть было не вырвалось у нее, и она сказала бы это, если бы не поймала на себе насмешливый взгляд Пейкер.

Сотни возмущенных вопросов к Аднан-бею роились у нее в голове: «И не стыдно ему? Ему уже за пятьдесят! А просит руки девчонки! Это даже неприлично, неужели он не мог найти кого-то более подходящего по возрасту?»

С пренебрежением, содержащим ответ на все эти вопросы, не решаясь посмотреть никому из присутствующих в лицо, она сказала:

– Аднан-бей? Тот, которого мы только что видели? – Она встала, и, словно это была шутка, не заслуживающая ни малейшего внимания, решительно заявила:

– Я-то думала, вы сообщите что-то серьезное. – И стала подниматься по лестнице, ступеньки которой уже начинали скрипеть под тяжестью ее тела.

Пейкер улыбнулась:

– Мама не рада. Сначала я, теперь Бихтер! Еще один повод для ссоры. . .

Бихтер улыбалась, щеки ее слегка порозовели. Она вопросительно посмотрела на зятя:

– Это правда? Ваши слова – правда? Если так, не обращайтесь внимания на мать, вы знаете, это касается только меня.

Пейкер, внутренним чутьем угадывая, что творится в душе сестры, заметив этот взгляд, задала все эти вопросы вслух:

– Расскажите все по порядку, ну что вы остановились? Посмотрите, Бихтер сейчас лопнет от любопытства. Ну что вы смотрите на маму, не обращайтесь внимания!

Бихтер возмутилась:

– И почему это я должна лопнуть от любопытства?! Придумала тоже.

Нихат-бей со всеми подробностями рассказал сестрам о визите Аднан-бея. Два часа назад, как раз когда он одевался, чтобы выйти из дома, к пристани перед ялы причалила лодка, из нее вышел Аднан-бей. Поздоровавшись, он начал издали: «Сегодня я намерен помешать

вам совершить прогулку!», потом вошел в дом и вот здесь, в маленькой комнате, после небольшого вступления, поговорив о том, о сем, перешел к делу: «Просьба, с которой я к вам сегодня обращаюсь, может показаться вам странной». Поскольку зять единственный человек, к которому можно обратиться с подобной просьбой, не согласится ли он быть посредником между ним и валиде-ханым и довести до ее сведения, что он просит руки Бихтер-ханымэфенди.

Пока Нихат-бей рассказывал, улыбка на лице у Бихтер постепенно сменялась выражением беспокойства, а Пейкер краснела. Когда рассказ закончился, Пейкер вдруг возразила:

– Но дети! Неужели Бихтер в ее возрасте станет мачехой?

Бихтер молчала, опустив глаза, она ожидала подобной реакции, понимая, что за показной заботой сестры скрывается чувство зависти. Нихат-бей ответил:

– Ох, дети! Да, Аднан-бей говорил о них. Младший – мальчик, с этого года будет оставаться в школе-интернате. Девочке в этом году исполнится тринадцать, через несколько лет она наверняка тоже выйдет замуж. И тогда...

Нихат-бей в упор посмотрел на невестку, словно хотел просверлить в ее душе отверстие и, заглянув туда, посмотреть, что там творится, и наконец закончил фразу:

– Тогда эта огромная роскошная ялы целиком останется в распоряжении Бихтер.

Щеки Бихтер запылали еще ярче. На это Пейкер нечего было возразить. Но неясное предчувствие в ее сердце, сущность которого была ей не совсем понятна, мешало принять мысль об этом браке. Бихтер предпочла оставить слова зятя без ответа, она собрала перчатки, шарф и пелерину и, ни слова не говоря, вышла из комнаты.

Чутье подсказало ей, что лучше воздержаться от обсуждения этой темы в присутствии сестры, было очевидно, что в этом вопросе Пейкер поддержит мать. Она пошла сразу в свою комнату, в свою малюсенькую комнату, ей нужно было спокойно все обдумать и принять решение победить или быть побежденной, прежде чем на нее набросятся с возражениями.

Закрыв дверь, она бросила вещи на кровать, подбежала к окну и распахнула ставни, их слуга Якуб поливал сад, он как раз выливал остатки воды из ведра на землю под жимолость, которая взбиралась по стене до окна Бихтер. Дыхание свежесполитой земли смешалось с благоуханием цветов и освежило воздух в комнате, пропитанной запахом парфюмерной воды с ароматом белой сирени. Сейчас в комнату сквозь сгустившуюся темно-зеленую тень сада проникал сумеречный свет, словно рассеивая тусклый блеск догоравшего, готового вот-вот потухнуть фонаря. Бихтер, присев на подлокотник диванчика рядом с окном, вдруг произнесла вслух:

– Аднан! Аднан-бей! – Казалось, она ожидала, что звучание этого имени поможет ей получить ответ на вопрос, решающий ее судьбу.

Новость словно околдовала Бихтер. Последние слова зятя звенели в ее ушах, как завораживающая, пьянящая мелодия. Стать единственной владелицей этой огромной ялы!..

Она боялась думать об этом как о невероятной несбыточной мечте, как будто если она будет о ней много думать, мечта исчезнет, но внутренний голос, теплый убаюкивающий голос всех ее мечтаний, украдкой нашептывал ей имя, которое воплотит все ее мечты в жизнь:

– Аднан! Аднан-бей!

Она представила элегантного господина с изысканными манерами, принадлежавшего к высшим слоям общества, имеющего перспективы занимать высокие посты, с расчесанной на две стороны от подбородка бородой, цвет которой издали трудно было определить – седая или русая, всегда хорошо одетого, всегда живущего на широкую ногу, вспомнила, как он руками в тонких лайковых перчатках кончиком изящного, кипенно-белого батистового носового платка протирает стекла очков в тонкой золотой оправе и как при каждой встрече смотрит на нее взглядом с затаенной мольбой; красивый, несмотря на возраст, который он мастерски скрывал, все еще красивый мужчина.

Пятидесятилетний возраст и наличие двух детей не отпугивали и не слишком волновали двадцатидвухлетнюю девушку, мечтающую о роскоши и богатстве. Собственно говоря, Аднан-бей был из тех мужчин, возраст которых совершенно не имел значения. Дети? Даже наоборот, это нравилось Бихтер. Сейчас, когда она думала о них, ей казалось даже забавным: «Они будут называть меня „мамой“, не так ли? Молодая мамочка! В двадцать два года быть матерью молодой девушки! Во сколько же получается я бы родила ее? А мальчик!.. Действительно, моя сестра, пожалуй, права! Так и стреляет раскосыми глазенками!»

Она представила, в какие платья будет их наряжать, потом сама рассмеялась над тем, как далеко забежала в своих мыслях.

В этом браке ее не тревожили ни дети, ни пятидесятилетний возраст Аднан-бея. Это были для нее такие незначительные мелочи, на которые легко можно было закрыть глаза и которые терялись на фоне той роскоши, которую ей сулило это замужество. Если бы Аднан-бей был таким же как все, если бы дети не были такими красивыми и нарядными, всегда гуляющими вместе с отцом, она бы в ответ на это предложение только пожалала плечами и рассмеялась зятю в лицо. Но сказать «брак с Аднан-беем» было все равно что сказать «самая большая ялы на Босфоре»; когда проплываешь мимо, в ее окнах видны люстры, тяжелые шторы, ореховые стулья с резьбой Людовика XV²¹, лампы с огромными абажурами, столики и скамьи с позолотой, причал, где пришвартованы белая гичка²² и ялик из красного дерева, покрытый чистым брезентом. Затем перед глазами Бихтер со всем богатством ее воображения раскинулись ткани, кружева, переливающиеся разными цветами драгоценности, жемчуга, посыпался дождь из вещей, которые она безумно любила и не могла себе позволить.

Бихтер хорошо знала: важной причиной, помешавшей ее матери заключить действительно блестящий брак, который открыл бы ей дорогу в высший свет, был ее образ жизни, непреодолимая, страстная, не имеющая границ любовь к развлечениям. Дочерям Фирдевс-ханым, этим последним прекрасным цветам семейства Мелих-бея, блеск и слава которого уже начали меркнуть, мог выпасть только такой претендент, как зять – этот Нихат-бей.

Когда ее мысли обратились к зятю, по ее лицу скользнула презрительная улыбка. «Глупец, – говорила она, – приехал в Стамбул, чтобы сделать карьеру с французским, который выучил в пивной на набережной в Салониках²³»...

Бихтер знала, что ее зять женился на Пейкер не столько по безумной любви, сколько потому, что хотел воспользоваться связями с благородным семейством и влиться в аристократическую жизнь Стамбула.

Делая акцент на этом слове, уже в полный голос она сказала:

– Глупец!

Да, и вот тебе, наконец, муж!.. Зарплата в несколько сотен курушей²⁴, мелкие подачки от родственников, друзей, да и еще бог знает от кого, потом ребенок, потом? Что потом? Бихтер сжала руки:

– Потом ничего!

Вдруг она подумала: ведь несмотря на недовольство Пейкер, зять будет на ее стороне в отношении этого брака. Этот брак может быть ему выгоден. Он мог бы ожидать предпочтений от родственных связей с влиятельным и уважаемым Аднан-беем. Она считала, что выгода стоит у зятя на первом месте и ради нее он может поступиться очень многим.

²¹ После Крымской войны 1853 г. богатые владельцы особняков стали отказываться от традиционной османской мебели и обставлять дома на европейский манер.

²² *Гичка* – длинная узкая гоночная лодка, управляется несколькими парами гребцов.

²³ *Салоники* – торговый порт на берегу Эгейского моря, в то время находился под управлением Османской империи, набережная города славилась своими питейными заведениями.

²⁴ *Куруши* – в настоящее время мелкая монета, 0,01 лиры, во время написания романа зарплата рассчитывалась в золотых лирах. Упомянутая здесь зарплата соответствует приблизительно зарплате современного чиновника в 800–1000 лир.

Решив, что она может сделать его себе союзником в этом вопросе, она подумала о сестре. «Бедняжка Пейкер! Она в лице изменилась, когда услышала имя Аднан-бея. Вот вам пожалуйста еще одна, кто захочет помешать этому браку... На этот раз она будет на стороне матери, но...»

Бихтер не видела необходимости заканчивать эту фразу даже в мыслях, она встала и посмотрела из окна в крошечный сад. Сейчас глядя с высоты, куда ее занесло воображение, на садик, который всегда с большим старанием старались содержать ухоженным, в ее глазах было пренебрежение, с которым смотрят на тех, кто ниже себя.

Она увидела всю свою двадцатидвухлетнюю жизнь в одном мгновении: дни, которые проходили в этом уголке, в их бедном домике всегда однообразно, повинувшись одному и тому же порядку. Все развлечения, все прогулки, даже платья, которые она шила и носила с удовольствием, самые лучшие воспоминания ее двадцатидвухлетней жизни вдруг показались ей примитивным и ничтожными.

Потом она подумала о себе. Она представила свое лицо, волосы, фигуру, свой изящный красивый облик, вспомнила взгляды, полные страсти и благоговения, которые бросали на нее, когда она шла мимо; томно прищурившись, она улыбнулась этому образу. Бихтер перечислила все достоинства, которые прилагались к ее безусловной красоте.

Несмотря на пренебрежение и нерадивость Фирдевс-ханым, этой женщины, которой было неведомо, что такое материнская забота, Бихтер научилась всему понемногу: со свойственной этой семье врожденной хваткостью ума, перелистывая журналы, она освоила турецкий в той степени, что могла читать рассказы, знала французский настолько, что могла торговаться в магазинах в Бейоглу, от девушек-служанок, которых они всегда брали из Тарабьи²⁵, выучила греческий, играла на фортепиано вальсы, романсы, кадрили, пела довольно хорошо и с чувством и даже могла неплохо аккомпанировать себе на уде²⁶, на котором научилась играть практически самостоятельно.

С таким количеством достоинств и добродетелей она вполне могла рассчитывать на лучшую партию, чем Нихат-бей, но образ жизни ее матери, сомнительная слава ее семьи возвышались непреодолимой преградой на ее пути. Они не оставляли ей возможности надеяться на осуществление ее честолюбивых мечтаний, и в сердце питала по отношению к своей семье глубокую неприязнь. Ох, теперь она отомстит им за все!

Она приняла окончательное решение, и никакая сила не заставит ее отказаться от этого решения.

Она прошлась по комнате, проходя мимо зеркала, улыбнулась своему отражению и увидела там уже не бедняжку Бихтер, которой грозило остаться без мужа, а супругу Аднан-бея, она поприветствовала ее и поздравила. Погруженная в свои мысли, она снова подошла к окну: веточка плюща, словно улыбаясь ей, проникла сквозь планки ставень; она оторвала от него тоненький росток, прикусила его мелкими, белоснежными, как жемчуг, зубками. Из комнаты, погрузившейся в темноту, она задумчиво, слегка прищутив глаза, посмотрела на цветы и лужайку в саду; теперь сад выглядел совсем иначе, теперь здесь были ее мечты, они сияли и переливались разноцветными красками.

Она видела перед собой не сад, а груды прекраснейших тканей с рассыпанными по ним драгоценными камнями. Словно радуга распалась на части, пролилась потоками зеленых, синих, желтых, алых шелков и рассыпалась в лучах солнца яркими брызгами изумрудов, рубинов, алмазов, бирюзы.

²⁵ Тарабья – район Стамбула на европейском берегу Босфора между Календером и Киречбурну, во времена написания романа деревушка, где проживали в основном греческие переселенцы.

²⁶ Уд – традиционный турецкий струнный щипковый инструмент.

Вот, вот то, что она безумно любила и не могла себе позволить, они зовут ее призывным взглядом и ждут, готовые покорно выполнить любой ее каприз.

Ах! Эта нищая, убогая жизнь, которая научила ее с фальшивым смирением скрывать боль и тоску по всем тем вещам, которые она не могла себе позволить, вынуждая искать изысканность в простоте. Как ей надоела эта жизнь, как она устала закрывать глаза, чтобы не видеть всего этого. Каждый раз, когда шли в магазин, они, укоряя в безвкусице дорогие драгоценности или богатую ткань, отталкивали их резким движением руки. Да, отталкивали, но в душе Бихтер каждый раз что-то рвалось. И теперь, когда перед ее взором сверкающим потоком пронеслись мечты, она вспоминала, как они с матерью и сестрой останавливались перед витринами магазинов. Они надолго замирали в ошеломленном молчании то перед одной, то перед другой витриной и, не признаваясь друг другу, мысленно примеряли на себя желанные украшения.

Вот это ожерелье Бихтер надевала на шею, бриллиантовый браслет на руку, придумывала, как лучше украсить волосы заколкой в виде малюсенького воробья, который держал в клювике огромную, как горох, жемчужину; всего на пять минут она поддавалась этим опьяняющим мечтам, но, отойдя от витрины, ей хотелось сорвать гремящие на запястье дешевые серебряные браслеты и тонкие золотые цепочки.

Когда она думала о том, что теперь все это будет ей доступно, убожество их жизни представало перед ней с еще с большей ясностью и отчетливостью: словно в воображении она уносила ввысь, подальше от реальной жизни, и, глядя с высоты, степень их падения становилась еще очевиднее. Сегодня она смотрела на действительность так, словно ее глаза уже привыкли к роскоши.

Одежда на ней, вещи, которые ее окружали, кричали о бедности и давили на нее, наводя тоску. Эти стулья, прикрытые вязаными салфетками, чтобы скрыть изношенность ткани, старый потрескавшийся ореховый шкаф, железная кровать со стертой позолотой, ветхие занавески, свисающие с окон уныло и обессиленно, она смотрела на эти вещи, которые были изготовлены в свое время с искусным мастерством, но теперь уже отслужили свое, как на реликвии из мира бедности, которые следовало выбросить раз и навсегда. Вдруг рядом с этим бедным миром раскрыли свои двери залитые ярким светом коридоры и комнаты роскошного, сверкающего золотом особняка.

В них она расставит вещи, которые ей всегда нравились и которые она не могла себе купить. Она вспоминала все те статуэтки, вазы, картины, керамику, тысячу всевозможных красивых вещей, она расставит их по комнатам, завесит ими стены, украсит дом множеством предметов, которыми будет без устали любоваться. Вот что значит выйти замуж за Аднан-бея – возможность все это сделать. Она клялась: никто – ни мать, ни сестра, никто в мире не сможет помешать ей осуществить свои мечты.

В дверь постучали. Голос Катины возвестил:

– Стол накрыт!

Бихтер открыла дверь, и первое, что она увидела, – сияющая улыбка на юном, радостном лице Катины.

– Почему ты улыбаешься? – спросила она.

– Ох, неужели я не понимаю? Если бы вы только знали, как я рада, госпожа! – Сверкая сияющими черными глазенками, Катина с надеждой посмотрела на Бихтер:

– Вы же возьмете меня с собой, правда?

Бихтер не ответила, из уст молодой девушки прозвучало подтверждение тому, что это событие повод для радости, и это добавило ей решимости. Эти наивные слова были надежным свидетельством того, как будет воспринят этот брак в обществе.

За столом Фирдевс-ханым говорила о чем угодно, но только не о предложении Аднан-бея, она хотела вовлечь в разговор о всякой всячине Бихтер, словно бы хотела наладить с ней мир, который предотвратит грядущую ссору. Она обсуждала наряды, которые они видели в

Календере, серых лошадей, запряженных в экипаж, ехавший в сторону Йеникей, смеялась над господином, у которого из кармана пиджака высовывался красный шелковый платок и который свистел и, размахивая тростью, отбивал такт, когда играла музыка. Бихтер хмурилась и не отрывала глаз от тарелки, она понимала, с какой целью болтает мать. Она почувствовала, что предстоящая схватка с матерью впервые будет столь серьезной и жесткой.

Вдруг она подняла глаза и поймала взгляд зятя.

Бихтер не смогла сблизиться с этим человеком, им так и не удалось преодолеть натянутость в отношениях, которая мешала им стать братом и сестрой. Временами он вызывал у нее произвольный животный страх, в этой антипатии было нечто похожее на физическое отращение. Иногда, когда она встречалась с ним глазами, она не выдерживала и чувствовала необходимость отвести взор, в то время как обычно умела взглядом поставить на место назойливых незнакомцев, глазеющих на нее на улице.

Этим вечером, когда их глаза встретились, Бихтер не отвернулась, она посмотрела на зятя настойчиво, проверяя его готовность сотрудничать. В его глазах она увидела согласие и безусловное повиновение: так, лишь обменявшись взглядами, они заключили договор.

Нихат-бей, разрезая и разворачивая газеты, которые вот уже два дня ждали своего часа, поинтересовался у Фирдевс-ханым:

– Вы не придали значения предложению Аднан-бея?

Фирдевс-ханым сначала будто не расслышала:

– Катина, возьми-ка графин...

Потом посмотрела на зятя:

– К этому нельзя относиться серьезно. Во-первых, слишком большая разница в возрасте, потом дети...

Пока Фирдевс-ханым говорила, Пейкер сверлила мужа грозным взглядом, предостерегая, чтобы он не продолжал эту тему. Ужин закончился тяжелым молчанием.

У Фирдевс-ханым было обыкновение: в жаркие вечера после ужина она выходила на галерею и здесь, лежа на шезлонге, слушала бесконечный плеск морских волн.

Нихат-бей просматривал позавчерашние газеты, Пейкер предпочитая воздержаться и промолчать, чем затевать нежелательный разговор, свернулась калачиком в кресле под лампой с желтым абажуром и, полуприкрыв глаза, погрузилась в раздумья.

Бихтер немного прошлась. Потом под каким-то предлогом удалилась в свою комнату и снова вернулась, этим вечером ей не сиделось на месте.

Ей было необходимо сделать то, что она задумала, сейчас, немедленно, это нужно было сделать срочно, не откладывая, не дожидаясь более подходящего момента. Через открытую дверь, ведущую на галерею, залетал свежий ветерок, надувая тюлевые занавески. Каждый раз, когда занавески вздымались, она видела белый силуэт матери, лежащей на шезлонге, и отворачивалась, чтобы не пойти тотчас же на балкон.

Она хотела полистать старые журналы, лежащие на столе, посмотреть картинки, но они расплывались у нее перед глазами, в голове настойчиво звучал вопрос: «Почему не сейчас, почему потом? Если сегодня вечером этот вопрос не будет решен, ты до утра не уснешь». Страх предстоящего разговора с матерью становился все сильнее, сердце у нее колотилось.

Она хорошо знала: сегодня вечером она выскажет матери столь неприятные вещи, какие раньше между ними не произносились. Вдруг она упрекнула себя в том, что слишком малодушна; она миновала дремавшую Пейкер, и зятя, воздвигшего стену из газеты, легкими шагами прошла в другой конец гостиной и просунула голову сквозь тюлевые занавески:

– Я посижу с вами, мама.

Легкий ветерок пробежал по поверхности моря, затейливо удлиняя лежащиеся на плотную черную массу тени пароходов и лодок, сонно покачивающихся на темной воде под ленивыми ударами волн.

Бихтер села у ног матери на раскладную скамеечку; казалось, ей хотелось быть поближе к матери, как маленькому ребенку, который хочет, чтобы его приласкали; она подложила локоть под голову и опустила голову на колени матери, ее волосы раскинулись черной волной, она смотрела на небо, на одинокие звезды, которые обиженно и печально светились в этой темноте, заставляя трепетать ее влажные ресницы и навевая мысли о сиротстве.

Бихтер проводила взглядом сердитый полет напуганной ночной птицы. Мать как будто бы спала, она не произносила ни слова, словно не знала о присутствии дочери. Бихтер приподняла голову, она хотела в темноте разглядеть глаза матери.

Мать и дочь, освещенные лишь светом, который еле-еле сочился сквозь тюлевые занавески из комнаты на галерею, посмотрели друг на друга. Бихтер улыбалась, негромко, голосом нежным, как ветерок, который легонько ворошил ее волосы, она спросила:

– Мама, почему вы считаете предложение Аднан-бея несерьезным?

Фирдевс-ханым, несомненно, ожидала этого вопроса, не меняя позы, она тихо ответила:

– Думаю, я уже объяснила это.

Бихтер, все так же улыбаясь, пожала плечами:

– Да, но причины, которые вы перечислили, настолько незначительны... Не знаю, разве их достаточно для того, чтобы вы не давали согласия на этот брак?

Фирдевс-ханым медленно приподнялась, теперь губы обеих были крепко сжаты, словно они хотели сдержать глубокое волнение в голосе, чтобы не выдать бушующие в них чувства. Бихтер подняла голову, убрала руку с колен матери.

– Вижу, ты весьма расположена к этому браку, Бихтер!

Бихтер ответила спокойно, стараясь оттянуть как можно дольше момент спора, который неминуемо должен был разразиться:

– Да, потому что уже не осталось надежды на лучшую партию. Вы хорошо помните, что старшей дочери с трудом нашли Нихат-бея. И мне неизвестно, что до сегодняшнего дня кто-то просил бы моей руки.

– Ты меня удивляешь, Бихтер! Если бы ты сказала мне, что так спешишь выйти замуж... – возразила Фирдевс-ханым.

Хотя Бихтер и была исполнена благих намерений провести разговор спокойно, она, по своей природе готовая вспыхнуть по любому поводу, не сдержалась:

– Ох, здесь нечему удивляться, девушке двадцать два года, впервые ей делают предложение руки и сердца, которое можно было бы принять, и если она наконец выражает свое мнение, я думаю, это вовсе не значит, что она спешит. Признайтесь, причины, которые вы приводите, чтобы отклонить предложение Аднана-бея, может, для другой девушки и были бы и важны. Но для девушки, у которой не осталось надежды найти мужа, кто знает по какой причине, но не потому что проблема в ней самой...

Голос Бихтер вибрировал от волнения. Гудок грузового парохода, плывущего в Черное море, разрезая спокойные воды залива, заглушил ее последние слова. Фирдевс-ханым встала в полный рост, теперь мать и дочь стояли в темноте, лицом к лицу, дыхание к дыханию, изучая друг друга, как два врага, прежде чем броситься и задушить друг друга. Фирдевс-ханым спросила:

– С каких это пор девушки стали бесцеремонно указывать матерям, за кого их выдавать замуж?!

Бихтер, которая пять минут назад ластилась как кошечка, пряча свои острые коготки в мягких лапках, теперь выпустила их и тотчас ответила:

– С тех пор, как матери по непонятным причинам начали чинить им препятствия и не давать выходить замуж.

– Бихтер! Ты не умеешь выбирать выражения! Как ты разговариваешь с матерью! Я думала, я лучше тебя воспитала.

Теперь уже никакая сила не могла помешать спору перейти в открытую схватку.

Их голоса становились все громче, вот-вот готова была разразиться буря, и те, кто сидел в комнате – Нихат-бей и Пейкер могли бы это услышать. Бихтер подошла еще ближе, и, касаясь дыханием, лица матери, ответила:

– Правильнее приписать это не недостатку воспитания, а в значительной степени тому, что вы не проявляли любовь и уважение к дочерям. Сожалею, но я вынуждена в первый раз сказать, вероятно, то, что вы никогда не забудете, но это ваша вина. Прежде чем осуждать свою дочь, советую вам взглянуть на себя. Знаете, почему вы на самом деле отказываете Аднану-бею? Вы скажете: из-за детей и возраста. Разве Нихат-бею тоже было пятьдесят лет? У него тоже были дети? Между тем так, как вы сегодня поступаете со мной, тогда вы поступали с Пейкер. В конце концов вы сдались, на этот раз вы снова сдадитесь, но это поражение для вас будет более горьким, потому что...

Фирдевс-ханым, задыхаясь от ярости, спросила:

– Почему же?

Теперь Бихтер продолжала, наслаждаясь муками стоящей напротив нее матери, с ужасной бесчеловечностью, поворачивая нож в ране, до крови:

– Потому... Вам угодно услышать? Потому, что я знаю в этом доме одну женщину... вот если бы Аднан-бей посватался к ней...

Весь с таким трудом сдерживаемый гнев Фирдевс-ханым вырвался наружу; не позволяя Бихтер закончить предложение, она влепила ей пощечину.

Бихтер в бешенстве схватила мать за руки и, удерживая их, прошипела:

– Да, если бы он посватался к ней, она бы бегом побежала, голову бы потеряла от радости.

Фирдевс-ханым обессиленно опустила на шезлонг. После того, как она выплеснула свой гнев, последние силы оставили ее и слабость, детская беспомощность навалилась на нее; вот уже некоторое время расшатавшиеся нервы подводили Фирдевс-ханым, и она выходила побежденной практически из каждого спора. Слезы, хлынувшие из глаз, помешали ей говорить. Женщина, выслушавшая этой ночью из уст дочери приговор за все, что она творила в жизни, рыдала, изливая свою печаль в темноту ночи, и бледные звезды на небе взирали на нее с осуждением.

Бихтер не хотела такого результата, не думала, не предполагала, что разговор, который она затеяла в надежде завершить его парочкой поцелуев, закончится слезами; она застыла, не в силах отвести взгляд от света красного фонаря, который извивался и вытягивался, как змея.

Она была уверена, что добьется своего, слезы матери были доказательством победы, но из-за них ей самой хотелось плакать, и она боялась, что разрыдается, если скажет хоть слово. Кусая губы, она слушала судорожные всхлипы матери под шум волн, которые наносили маленькие оплеухи берегу. Мать и дочь – эти два существа, не испытывавших в своих сердцах любви и уважения к друг другу, которые обычно связывают родителей и детей, замерли в тяжелом холодном молчании, словно два врага по разные стороны гроба на траурной церемонии.

Между ними что-то сломалось, но замужество Бихтер состоялось.



Этой ночью Бихтер вошла в свою комнату, торжествуя победу. Ей хотелось как можно скорее остаться наедине со своими мечтами, которые, как она теперь уже не сомневалась, должны были осуществиться. Она быстро разделась, срывая с себя одежду, будто хотела ее разорвать, в одной рубашке, сползающей с плеч, подошла к окну, опустила его и закрыла ставни. Зажгла масляную лампу, потушила свечу, сев на край кровати, стянула чулки и отбросила их; она легла на кровать и, чтобы отгородиться от всего, остаться наедине со своей мечтой, опустила полог кровати.

Дрожащий свет масляной лампы будто бы боролся с сокровенными тайнами комнаты; тени от флаконов на столе раздувались, непропорционально вытягивались, ложились на пол. Бихтер лежала под тюлевым пологом, защищающим ее мечты от действительности, в тишине комнаты витало дыхание сна. Из-под полога – как птенчик белого голубя, высунувшийся из гнезда, чтобы увидеть на горизонте лучик солнца, – выглядывала лишь пухлая ножка, покачиваясь с нервным нетерпением в кокетливой, игривой манере, словно заманивая в эту страстную постель волшебные грезы и сновидения. «Да, – говорила она, – сюда, сюда, роскошные ялы, белые гички, ялики из красного дерева, экипажи, ткани, драгоценности, все эти прекрасные вещи, все эти золоченые мечты... Вы все, идите сюда, скорее сюда».

Глава 2

Когда Аднан-бей вышел из светло-желтой ялы и сел в ялик из красного дерева, в душе он испытывал большое облегчение. Этот визит, в правильности которого он мучительно сомневался и на который не мог решиться вот уже несколько месяцев, был наконец совершен, и с его души словно свалился огромный камень; однако когда он остался один на один с собой в лодке, к ощущению легкости примешалось беспокойство. Сегодня вопреки обыкновению он был один в ялике, Нихаль и Бюлент его не сопровождали, но на местах, где они обычно сидели, ощущалось их незримое присутствие, он словно видел их невинные смущенные лица, слышал их робкие, нерешительные голоса:

– Папочка, где вы были? Что вы сделали?

Действительно, что он сделал? Сейчас, любуясь издали горными вершинами на противоположном берегу, радовавшимися глаз зеленую в последних лучах вечернего солнца, он задавал себе этот же вопрос. На минуту в душе снова проснулись сомнения и страхи, которые терзали его вот уже несколько месяцев, до того, как он решился на этот шаг. В мыслях он воссоздавал всю историю, этапы, мельчайшие подробности этой душевной борьбы. В эту минуту больше, чем когда-либо, он чувствовал необходимость оправдать себя перед своей совестью. И тоненький голосок сомнений снова отступил под натиском многочисленных причин и доводов, убедительно доказывающих его право на осуществление своих желаний.

Действительно, сколько так может продолжаться? Вот уже четыре года он посвящал всю свою жизнь детям, он заменил им мать, чтобы, насколько это возможно, не дать их маленьким неокрепшим душам почувствовать сиротство. Но сейчас он уже не видел разумного смысла в дальнейшем самопожертвовании. Собственно говоря, Бюлент отправится в школу, Нихаль через несколько лет выйдет замуж. Постепенно связь между ними начнет ослабевать, и наконец, как и между любыми отцом и детьми, между ними образуется пропасть, – и эта пропасть будет даже больше, чем сегодняшняя искренняя привязанность. Тогда он останется у этой пропасти один, не в состоянии отогреть покинутое сердце несколькими улыбками, которые как милостыню будут подавать ему дети, заглядывающие к нему время от времени, чтобы утешить его в одиночестве, снежинки этого одиночества прикроют плотным саваном его самопожертвование, не принесшее плодов.

Да разве вся его жизнь не есть сплошное самопожертвование? Стремясь найти побольше убедительных доводов, он отрекался от всех романтических воспоминаний, связанных с его любимой женой, словно вырывал цветы из могилы этой несчастной, чтобы устелить ими воображаемую колыбель своей второй страсти.

До тридцати лет он вел сравнительно невинную жизнь, жена стала самой большой его любовью. Сейчас, когда он об этом думал, все шестнадцать лет брака вспоминались ему бесконечной голой пустыней, на которой не смогла расцвести даже неприхотливая полевая ромашка. В памяти остались только нескончаемые болезни супруги. Он боролся с этими болезнями, годами пытаясь спасти мать своих детей, пока ожидаемый результат не свел на нет все его старания и не оставил его детей сиротами. Потраченные тогда усилия требовали справедливой награды. Он имел право получить компенсацию за выполненный в то время долг. Но в сердце он не мог унять сильное волнение, он не мог решить, как ему убедить в важности этих доводов Нихаль и Бюлента. Ему хотелось, чтобы доводы, которыми он оправдывал себя перед своей совестью, оправдали бы его и перед детьми.

Он отвел взгляд от холмов. Они приближались к Календеру; он подумал, что сможет их встретить, встретить Бихтер. Он слегка повернул руль. И вот он заметил вдалеке белую лодку, он еще приналег на руль и вычертил небольшой вираж. Лодки прошли так близко друг к другу, что чуть не соприкоснулись.

Аднан-бей говорил себе: «Сейчас, через десять минут, они все узнают». Он был уверен, что Бихтер примет его предложение, он, собственно, прочел это совершенно ясно в глазах девушки, ему даже показалось, что он заметил в ее взгляде упрек в том, что он так долго тянет. Он повторял как рефрен: «Да, сейчас, через десять минут...»

Он снова подумал о Нихаль и Бюленте. Он обязательно это сделает, когда приедет домой. Сегодня он собирался подготовить детей; ему хотелось поскорее унять душевную тревогу, которая мешала ему почувствовать себя полностью счастливым.

Ялик из красного дерева беззаботно мчался по морю, разрезая волны, а его беспокойство все возрастало. Он все еще не знал, как лучше сказать детям, в голову приходили разные варианты, но он не мог остановиться ни на одном из них. То он думал о Шакире-ханым – служанке, которая вошла в его дом в качестве рабыни его супруги и которая вслед за рождением Нихаль была отпущена на волю, но осталась в доме в качестве члена семьи²⁷, то говорил себе: «Нет, лучше воспользоваться посредничеством гувернантки». Когда лодка причалила и подбежал ожидающий его перед дверью маленький абиссинец²⁸ Бешир, Аднан-бей первым делом спросил:

– Дети не вернулись?

Узнав, что не вернулись, он повеселел: с одной стороны, ему хотелось увидеть детей, с другой – он оттягивал момент встречи с ними. Сегодня, чтобы иметь возможность поехать одному, он отправил детей вместе с их гувернанткой в парк в Бебеке²⁹.

Он переоделся, надел брюки из тонкой саржи и белую хлопковую рубашку, которые носил дома, поискал пиджак из черной альпаки, раздраженно отодвинул дверцу зеркального шкафа, посмотрел на вешалку в углу комнаты, но пиджака нигде не было. Он нажал на звонок и стал отчитывать Несрин:

– Везде беспорядок! Никто не следит за моими вещами. Я уже целый час не могу найти свой пиджак!

Рукав черного пиджака свисал с банкетки. Аднан-бей забросал его вещами, которые только что снял. Несрин подошла и вытащила пиджак из-под набросанных вещей.

– Видите? Вы оставили его на банкетке, вы сами никогда ничего не кладете на место.

В последнее время он взял за привычку постоянно ворчать на то, что слуги пренебрегают своими обязанностями, что все пущено на самотек, что когда в доме нет хозяйки, как ни следи, но совершенно невозможно объяснить слугам, чего ты от них хочешь. Когда Несрин выходила из комнаты, он спросил:

– Дети не вернулись?

Спустившись из спальни в холл, он некоторое время смотрел в окно на море, ему хотелось, чтобы все уже было позади. Потом он пошел в свою комнату, в кабинет, решив чем-то себя занять. Его главным увлечением была резьба по дереву. Все свободное время он проводил вырезая ножи для разрезания бумаги, чернильницы, коробочки для спичек, украшая их поверхность рельефной резьбой... Вот уже который день он трудился над небольшим медальоном с профилем Нихаль. Ему захотелось подержать его в руках, продолжить работу, но все валилось из рук. Он снова нажал на звонок, в комнату вошла Несрин:

– Нихаль и Бюлент еще не вернулись?

²⁷ В богатых османских семьях существовала традиция: слуге, рабу и т. п., отработавшим долгое время в доме, выдавали денежное содержание/приданое, женили/выдавали замуж и отпускали, в дальнейшем они могли уехать или остаться жить в доме в качестве члена семьи.

²⁸ Во времена Османской империи в домах держали рабов в качестве слуг, их покупали на невольничьих рынках. Центром работорговли считался Хиджаз. Хотя торговля рабами была запрещена в середине XIX века, она продолжалась и полностью была отменена только после образования республики.

²⁹ Бебек – парк рядом с пристанью Бебек на европейском берегу Босфора между Румелихисар и Арнавуткёй, в связи со строительством дороги вдоль побережья в 1959 г. часть парка ушла под дорогу, сейчас площадь парка сильно сократилась.

Несрин, на этот раз ответила, улыбаясь:

– Не вернулись, эфендим³⁰, но должны вот-вот прийти.

Когда девушка вышла, Аднан-бея охватил страх. Да, сейчас они придут. И тогда?.. Что тогда?

Больше всего его волновала Нихаль. Пока он измышлял уважительные причины в стремлении победить свои сомнения, его преследовал страх, который он никак не мог унять, страх за Нихаль. Он волновался, потому что не знал, как его женитьбу воспримет Нихаль. Он был уверен, что его дочь, нежная, хрупкая как цветок, выращенный в тепличных условиях, не останется безразличной к тому, что другая женщина встанет между ней и ее отцом. Когда Нихаль потеряла мать, она была еще совсем ребенком и в то время не прочувствовала в полную силу всю боль потери, но он хорошо видел, что по мере того, как выросла и умнела, она все чаще ощущала себя сиротой. Когда она, улыбаясь, смотрела на отца, у нее был такой взгляд, что, казалось, в глубине глаз прячутся слезы по умершей матери, которую она не успела узнать и полюбить, лица которой даже не помнила. А сейчас у нее хотят отнять и отца, отца, который стал ей второй матерью. Ох, какую же страшную рану нанесет сердцу Нихаль эта вторая потеря. Каждый раз когда он думал об этом, его сердце обливалось кровью. Однако изменить уже ничего нельзя, мало того, он считал, что Нихаль придется смириться.

Аднан-бей сидел, вытянув ноги, в кожаном полукресле рядом со своим рабочим столом в полумраке, создаваемом коричневыми шторами, он думал, и перед его глазами проносились отрывочными картинками воспоминания о том, как они жили с Нихаль. Сначала он вспомнил, как в первые дни после смерти матери она капризничала, часами плакала по пустякам. Тогда кроме отца ее никто не мог успокоить. У нее было нервное расстройство, приступы наступали с неравными промежутками и часами терзали ее худенькое тельце, лишая сил. Он думал о тревожных ночах, когда случались эти приступы и как он в тот печальный период дежурил у ее кровати.

Однажды ночью его разбудил испуганный голосок – кто знает, от какого кошмарного сна проснулась Нихаль. «Папа, папа», – позвала она. Он встал с кровати, подошел к ней и спросил: «Что такое, доченька?» Увидев, что отец рядом, она успокоилась, улыбнулась и впервые после смерти матери стала его расспрашивать: «А завтра она придет?» Так, не называя имени, не поясняя, о ком идет речь, она говорила о матери. «Нет, детка». Если раньше ей было достаточно такого ответа, то теперь она продолжала расспросы, которые были, видимо продолжением сна. «Она очень далеко уехала? Оттуда трудно приехать, папа?» Он не ответил, только утвердительно кивнул. Со свойственной детям настойчивостью она непременно хотела услышать ответ: «Тогда мы можем поехать к ней, ведь так? Смотри, она совсем не приезжает, совсем-совсем, даже на один денек».

В дрожащем сумеречном свете масляной лампы она выпростала тонкие голые ручки из-под одеяла, притянула его голову и, прижав губы к его уху, словно делилась с ним важной тайной, легким, как дыхание птички, голосом спросила: «Или она умерла?» Она впервые произнесла эту страшную правду. Затем нежными пальчиками вытерла слезы, навернувшиеся на глазах отца, и добавила: «Только вы не умирайте, папа. Вы ведь не умрете?»

Он утешил ребенка, уложил в кровать, укрыл одеялом и долго сидел около нее молча, ожидая, когда она уснет. В ту ночь она несколько раз всхлипывала во сне.

Некоторое время по ночам он не отходил от нее, они засыпали вместе. Даже сейчас Нихаль и Бюлент спали в соседней комнате, дверь в которую всегда держали приоткрытой. За ней находилась комната гувернантки – старушки мадемуазель де Куртон. Одиночество так сблизило отца и дочь, что они получали удовольствие только от общения друг с другом. Они вместе гуляли, вместе проводили вечерние часы. Гувернантка больше занималась Бюлентом,

³⁰ *Эфендим* – обращение к человеку, в т. ч. к незнакомому.

чем Нихаль. По вечерам Нихаль с нетерпением ждала, когда Бюлент попросится спать и мадемуазель де Куртон уведет его, она получала удивительное наслаждение от времени, проведенного рядом с отцом, словно это доверительное общение наполняло счастьем все необитаемые уголки ее души.

Аднан-бей смотрел на свою комнату, на вещи, которые были немymi свидетелями часов, проведенных вместе с дочерью. Вот на противоположной стене библиотека, полная серьезных, важных книг, – высокий, во всю стену, застекленный шкаф из резного орехового дерева; поодаль, напротив двери – некогда собранная богатая коллекция искусных образчиков каллиграфии – расположенные в художественном беспорядке, приятном глазу, они покрывают всю стену. На другой стороне наиболее искусные поделки – плоды его последнего увлечения: шкапулки, украшенные резьбой, рамки для фотографий, ящички для носовых платков, среди них веера, перехваченные лентами, и прямо посередине голова старика, вырезанная из огромного корня дерева. Они словно вопрошающе смотрели на него.

Он долго разглядывал резные изделия на стене. Все они были результатом его труда, все они были сделаны здесь за столом под лампой с зеленым абажуром в присутствии Нихаль в атмосфере любви и нежности.

Аднан-бей взял со стола медальон с изображением Нихаль в профиль, над которым сейчас работал. Он был еще не завершен, еще не определились черты осунувшегося болезненного бледного лица, не было волнистых волос, обрамлявших его рамкой из шелка. Но когда он смотрел на ее лицо, среди этих неопределившихся черт он видел с полной определенностью лицо страдальцы, при виде которого наворачиваются слезы на глаза.

Ах, Нихаль, ее бледное печальное лицо, которое, казалось, сетует на жизнь, притворное веселье легкого румянца на этой бледности, лицо, трепещущее, как хрупкая роза, которая вот-вот завянет. Эти глаза, улыбающиеся, но в глубине которых стонет больная душа, которые, когда она болела, старались обмануть искусственной улыбкой, как будто она притворялась счастливой. Он видел это со всей очевидностью. Он вспоминал болезни дочери, ее нервные припадки, головные боли, начинающиеся с затылка и длящиеся неделями.

Вдруг ему показалось, что Нихаль смотрит на него и плачет. На минуту он подумал: вот бы сегодняшнего дня не было. Да, сегодняшний день нужно стереть из жизни, он должен был пройти, как и все остальные дни, в будничной суете, он не должен был поддаваться своим желаниям. Но предложение сделано, и ничего уже нельзя изменить. Ему не приходило в голову передумать, пойти на попятную. За этим страдающим, болезненным лицом ему мерещилось другое лицо, с огромными глазами, с густыми черными волосами, изогнутыми бровями, оно призывно улыбалось ему, манило томным взглядом, сводило с ума молодостью и красотой.



Несрин выглянула из-за двери и сообщила:

– Приехали, эфендим.

Из-за спины Несрин послышался голос Нихаль:

– Папа, вы вернулись раньше нас?

Нихаль вбежала в комнату, в голубом платье без пояса, которое на ее хрупкой фигурке казалось не по возрасту длинным; тонкими чертами меланхоличного лица она напоминала изящного козленка; она взяла отца за руки и приподнялась на цыпочки, подставляя ему лоб для поцелуя: – Вы отослали нас от себя, а сами сбежали, да? Куда же вы ездили, папа? Почему не захотели сказать нам, что куда-то поедете? Мы только сейчас от Бешира узнали. О-о, мой маленький Бешир, он мне всегда все рассказывает.

Отец слушал, улыбаясь, а она со свойственной непоседливым детям привычкой каждое свое слово сопровождала движением – то дотронется до чего-нибудь на столе, то коснется подола платья.

– А нам было так весело! Если бы вы видели, мадемуазель сегодня была неподражаема. Она рассказывала Бюленту историю про нищего, которого знала в детстве. Так смешно! Так смешно! Он был такой старый, и большой кусок хлеба...

Рассказывая, Нихаль всплескивала худенькими ручками, настолько тонкими, что, казалось, через них просвечивает солнце. Поднеся ладони ко рту с бледными губами, она изобразила, как заглатывает огромный кусок хлеба.

– Вот так! Видели бы вы, как показывала мадемуазель... Вы же знаете Бюлента, его смех звенел на весь сад, как колокольчик; все оборачивались на нас. Давайте попросим мадемуазель, пусть она за ужином покажет, папа.

Она опустилась на ковер у коленей отца и рассказывала с самыми мельчайшими подробностями, как они гуляли в саду в Бебеке, как порхающая бабочка, перелетая с одной мысли на другую. Потом, вдруг прервав рассказ, серьезно спросила:

– Куда вы ездили, папа? Расскажите-ка, куда это вы тайком от нас ездили?

Он не задумываясь ответил:

– Никуда.

Как только он солгал, ему вдруг стало так стыдно, что он покраснел и попытался исправить положение:

– В Календер.

Нихаль с проницательностью, столь развитой у нервных детей, сразу почувствовала ложь:

– Нет, папа. Вот, вот вы покраснели, значит, хотите от нас что-то скрыть.

Она встала, притворяясь обиженной, наклонила голову и надула губки, и так, исподлобья, смотрела на отца. Он почувствовал, что ему необходимо тотчас, без подготовки, без всяких опасений, все рассказать этому ребенку, этому спустившемуся с небес ангелу, очистить свою совесть, выложить правду, что тяжким грузом лежала у него на сердце.

Он взял Нихаль за запястье; притянул к себе тоненькую, словно веточка, девочку, настолько хрупкую, что трудно было даже предположить, что из нее когда-нибудь разовьется женщина, пропустил пальцы сквозь светлые шелковые волосы, напоминающие облако. Еще секунду назад весело щебечущая девочка с болезненной нервной напряженностью, чуткая, как птица, которая вдруг почувствовала опасность, витающую над тишиной гнезда, с волнением на лице ждала ответа.

И тогда он спросил:

– Нихаль, ты же любишь меня? Очень, очень любишь, правда?

Со свойственным детям ожиданием подвоха она не хотела отвечать, пока не поймет суть вопроса. Отец продолжал:

– Нихаль, я вот что придумал для тебя. – Когда он говорил это, его сердце сжималось. – Но дай мне слово, поклянись, что не будешь возражать и согласишься. Ради меня, потому что ты любишь меня.

Он не мог закончить предложение – заметил в своем голосе такую фальшь, что его бросило в холодный пот. Он замолчал, чувствуя себя преступником, которому предстоит признаться в совершенном убийстве. Нихаль тихонько отобрала у него руку и отошла на шаг от

отца. Молча, бледная, с застывшим на губах вопросом, она настороженно смотрела на отца. Она не задала этот вопрос вслух. Почему? Неизвестно. Не пытаясь извлечь смысл из слов отца, она почувствовала, что в эту минуту ее папа, человек, которого она любила больше всех в мире, впервые хочет ее обмануть не по пустяковой причине, как это бывало, – в шутку, нет, эта ложь была настоящей страшной ложью, которая сейчас, прямо здесь сломает всю ее жизнь.

В комнате было темно, они видели только тени друг друга. Между ними как будто пролетел холодный ночной ветер, от которого бросает в дрожь. Отец и дочь, не произнося ни слова, опасаясь сделать лишнее движение, смотрели друг на друга. Этот разговор, который, раз уж был начат, необходимо было продолжить, вдруг словно оборвался. Но нужно было как-то прервать это молчание. Сейчас Аднан-бей корил себя. Зачем он стал об этом говорить сегодня, когда еще ничего не решено, даже ответ еще не получен?

Вдруг послышался звонкий, как колокольчик, смех Бюлента, носившегося по холлу. Его кто-то догонял. Бюлент убежал, топот его маленьких ножек слышался то совсем рядом с комнатой, где разыгрывалась безмолвная трагедия, то отдаляясь и исчезая в далеких уголках комнаты. Чтобы хоть что-то сказать, Аднан-бей произнес:

– Кажется, Бехлюль снова гоняется за Бюлентом.

Нихаль ответила:

– Наверное. Пойду скажу, чтобы перестали. Ребенок и так устал, мы сегодня столько ходили.

Нихаль без сомнения искала причину поскорее уйти. Но разговор нельзя было прерывать на этом, остановиться сейчас, на этой точке, было еще опаснее; в этот момент Аднан-бей решил непременно все рассказать если не Нихаль, то кому-нибудь другому.

– Нихаль, передай, пожалуйста, мадемуазель, я хочу ее видеть.

Нихаль, растворившись белой тенью в темноте, тихонько вышла. Шум в гостиной продолжался. Бюлент так устал, что ему не хватало дыхания, даже чтобы смеяться, он убежал от Бехлюля, который делал вид, что никак не может его схватить, малыш прятался за креслами, в потайных уголках комнаты и с волнением наблюдал, как преследователь подкрадывается к нему. Когда же казалось, что соперник его вот-вот настигнет, он с воплем снова бросался наутек.

Нихаль, выйдя из комнаты, строго прикрикнула на Бюлента:

– Хватит, Бюлент, ты сейчас снова вспотеешь! Стыдно должно быть тому, кто тебя так загонял.

Это был прямой выпад против Бехлюля. Брат и сестра постоянно враждовали. Вот уже три дня Нихаль не разговаривала с Бехлюлем из-за ужасной ссоры, которая произошла по совершенно нелепой причине: Бехлюль раскритиковал шляпу мадемуазель де Куртон.

Увидев Нихаль, Бехлюль остановился, облизав языком светлые тонкие усики, с насмешкой искоса смотрел на нее. Нихаль, поймав мальчика за руку, повела его наверх. Бехлюль, почесав кончик носа, крикнул ей вслед:

– Передайте мои заверения в любви и искреннем почтении мадемуазель де Куртон!

Делая ударение на каждом слове:

– И тем прекрасным цветам на ее чудесной шляпе...

Нихаль не ответила. Если в обычное время подобной насмешки было достаточно для начала многочасовых пререканий, то сейчас она только делано улыбнулась, что в переводе должно было означать, что она не собирается выполнять его просьбу. Она бегом поднималась по лестнице, крепко держа Бюлента за руку, чтобы он не вырвался. Бюлент настолько разошелся, что, не в силах удержать бьющую ключом энергию, подскакивал и перепрыгивал через ступеньки. Когда они достигли холла на втором этаже, он вырвался и весело помчался, как жеребенок, сорвавшийся с привязи.

Несрин зажигала свечи на люстре; чтобы дотянуться до них, она встала на скамеечку: «Осторожно, дорогой, а то врежешься в меня и я упаду», – предостерегала она, но Бюлент не обращал на нее внимания. Тут он увидел Бешира, который молча поднимался вслед за ними, бросился к нему и, едва доставая ему до пояса, обнял своими ручонками абиссинца, тонкое и стройное тело которого своим изяществом напоминало девичье. Глядя раскосыми глазками, так умиляющими Пейкер, на томное нежное лицо четырнадцатилетнего юноши, которое так и хотелось поцеловать, он умолял: «Ну давай! Давай поиграем в экипаж, давай сядем в экипаж, помнишь, как мы недавно играли». «Ну давай, Беширчик, ну пожалуйста», – заладил он, стараясь дотянуться, чтобы покрыть поцелуями лицо Бешира, который казалось уже стал поддаваться на уговоры. Бешир поднял голову к потолку, посмотрел на плафоны люстры, которую зажигала Несрин. Он растерянно искал взглядом Нихаль, подымающуюся вверх, ожидая от нее указания, соглашаться ли ему. От нее ему было достаточно одного слова, небольшого знака, намека.

Бешир был счастлив во всем подчиняться Нихаль, выполнить любой ее приказ, в ее власти было разрешить ему дышать, быть счастливым, жить или умереть. Он смотрел на Нихаль так, словно расстилал свою несчастную покорную душу ей под ноги.

Вдруг Нихаль вспомнила: «Мадемуазель!» Несрин с фитилем в руке уже закончила зажигать свечи на верхнем этаже и, прежде чем спуститься вниз, говорила Бюленту, который поставил освободившуюся скамеечку перед Беширом: «Но, дорогой мой, эта скамеечка мне нужна, мне нужно зажечь еще люстру в холле внизу». На самом деле она специально замешкалась и улыбалась в предвкушении посмотреть на игру в экипаж. Нихаль прошла мимо, вошла в коридор, который вел из холла к спальным комнатам. Постучала в дверь третьей спальни.

Мадемуазель де Куртон каждый раз, возвращаясь с прогулки, переодевала детей, а затем закрывалась в своей комнате и оставалась там часами, чтобы раздеться, умыться, снова одеться. На это время вход в комнату старой девы для детей, да и для всех остальных был запрещен.

Нихаль прокричала из-за двери: «Мадемуазель, не могли бы вы спуститься к моему отцу? Он хотел вас видеть». Не дождавшись ответа, она тут же повернулась и ушла. Снова прошла в холл.

В холле Бюлент отправился на «прогулку в экипаже». Зрителей поприбавилось. Несрин держала фитиль и все еще ждала, когда освободится скамеечка. Дочь Шакире-ханым Джемиле, десятилетняя девочка, наблюдала за игрой завистливыми глазенками – ей тоже хотелось принять участие. Шайесте – после того как Шакире вышла замуж, она стала главной распорядительницей в доме, – поднялась вверх, чтобы поторопить Несрин. Время от времени она дергала Несрин: «Ну что ты стоишь? Внизу темно хоть выколи глаз, что скажет бейэфенди?» – но потом сама засмотрелась на игру.

Нихаль села. Бешир, который на секунду нерешительно приостановил игру, видя, что она не возражает, снова потянул скамеечку, на которой сидел Бюлент.

Мадемуазель де Куртон иногда привозила детей в Бейоглу, и они ходили по магазинам, где она позволяла им покупать то, что им захочется. Больше всего в этих прогулках Бюленту нравилось ездить в экипаже. Они зимой и летом почти безвыездно жили на ялы, и подобные поездки позволяли хоть и редко, но вырваться на свободу и становились для него настоящим праздником.

Сейчас вместе с Беширом они играли в такую прогулку в Бейоглу. Делая остановки около кресел, они заглядывали в воображаемые магазины и покупали всякую всячину.

– Извозчик! Вези нас в «Бон Марше»³¹! Ах, мы уже приехали? Да, приехали. Вот этот меч на витрине! Посмотрите-ка, сколько стоит этот меч? Пять лир? Нет, очень дорого! Двенадцать курушей... Заверните хорошенько! Готово? Какой он длинный! Он не уместится в экипаже!

³¹ «Бон Марше» («Бонмарше») – крупный торговый дом на проспекте Истикляль, основан французами братьями Бартоли,

Кто знает, сколь длинным был этот меч, он настолько вырос в воображении Бюлента, что тот не знал, как разместить в экипаже сверток, который он якобы держал в руках. Наконец, пристроив его в углу экипажа, он снова уверенно приказывал извозчику:

– А теперь в кондитерскую «Лебон»³²! Извозчик, ты же знаешь, где кондитерская «Лебон»?

Экипаж двинулся. Джемиле наконец не выдержала и присоединилась к игре, толкая скамеечку сзади. Несрин потеряла надежду вернуть скамеечку. «Ну бог с тобой! Я так свои дела не закончу!» – сказала она и спустилась вниз. Шайесте покрикивала:

– Бешир, не беги так быстро! Уронишь ребенка!

Нихаль сидела молча, расслабившись и задумчиво глядя в одну точку и отстраненно слушала болтовню Бюлента. Бюлент же теперь разговаривал с хозяином кондитерской:

– Нет-нет, вы не поняли. Не та, а другая корзина, разве вы не видите? Вот эта с птичкой среди лент, на которой мешочек. Я беру ее для старшего брата. Вы же его знаете? Бехлюль-бей... Тот, что всегда приносит мне шоколад. Вы положили в коробку конфеты с начинкой? Да, еще положите десять абрикосов! Достаточно! Смотрите, чтобы не подавились!

Он сделал вид, что очень осторожно берет корзину из рук кондитера:

– Пусть здесь стоит, на коленях, – после снова отдал приказ кучеру:

– К Мосту³³! Едем к Мосту! Мы уже все купили. Поскорее, а то опоздаем на паром, быстрее, быстрее... Что мы скажем папе, если не приедем вовремя?

Шайесте снова кричала Беширу:

– Сейчас в колонну врежетесь! Ну что ты делаешь, все время потекаешь ребенку!

Теперь Бюлент подражал мадемуазель де Куртон: схватившись руками за голову, он воскликнул по-французски:

– О, боже! Можно подумать, нас несет ураганом! – А затем переходя на турецкий, но на турецкий мадемуазель де Куртон, крикнул кучеру:

– Извозщик, стой, стой!

Бюлент так точно изображал манеры, поведение и волнение гувернантки, что даже губы Нихаль тронула улыбка. Вдруг она услышала над ухом голос мадемуазель:

– Нихаль, это вы стучали мне в дверь?

От неожиданности она подскочила, словно очнулась от глубокого сна, и на секунду в замешательстве ничего не могла сообразить. Потом вдруг вспомнила и, ощутив в сердце чувство надвигающейся беды, ответила:

– Я просила, чтобы вы спустились к отцу. Он хочет вас видеть.

Она как будто хотела еще что-то добавить, но, не найдя слов, отвела взгляд от лица мадемуазель де Куртон и села.

Когда старая дева спускалась вниз, Нихаль снова переключилась на Бюлента. Бюлент уже забыл, что велел извозчику ехать к Мосту. Теперь экипаж катился по проспекту Таксим³⁴.

– Ха, остановимся здесь! – говорил он. – Прогуляемся немного по саду³⁵.

затем перешел во владение Карлмана, позже был выкуплен банком Зираат Банк, в настоящее время закрыт.

³² «Леон» – знаменитая кондитерская, во время написания романа находилась на проспекте Истикляль рядом с Тюнелем в доме 362, сейчас переехала в здание напротив на улице Кумбараджи 461, на прежнем месте сейчас находится кондитерская «Маркиз».

³³ Мост – Галатский мост, от пристани с восточной стороны моста отправлялись (и отправляются сейчас) паромы к дачным местам на побережье Босфора.

³⁴ Таксим – площадь Таксим, центральная площадь Стамбула, с которой отходят автобусы в Шишили и Бебек; в центре площади установлен монумент «Республика» (1928 г.), до 1940 г., когда она была перестроена и значительно расширена, на ней находились казино, конюшни и магазинчики, здание Казармы Таксим, позже перестроенное в стадион (в 1940 г. здание было снесено); в западной части жилых зданий не было, она называлась Талимхане. Улица между казармой и Талимхане вела на север в Харбийе (в настоящее время проспект Джумхуриет).

³⁵ Парк Таксим – парк Таксим-Гези.

Нихаль не отрывала глаз от экипажа Бюлента, но уже не слушала брата. Ей казалось, что в ее маленькой голове развалилась черная туча, и мир погрузился во мрак.



Этим вечером за столом все кроме Бехлюля молчали. Бюлент устал, ему захотелось спать раньше времени, он куксился. Бехлюль рассказывал вероятно что-то интересное... Рассказывая, он смеялся, и даже подшучивал над Беширом, стоящим за спиной Нихаль.

Нихаль не смотрела на него. В какой-то момент она почувствовала на себе взгляд и подняла глаза: отец, улыбаясь и делая вид, что слушает Бехлюля, смотрел на нее странным взглядом, в глубине которого таилось сострадание. От этого взгляда ей стало не по себе, она отвела глаза, но продолжала чувствовать на себе этот тяжелый взгляд.

– Доченька, ты опять не ешь мясо?

Каждый раз за столом повторялось одно и то же. Ее заставляли есть мясо. Аднан-бей постоянно настаивал на этом. Давясь куском, она ответила:

– Я ем, папа. – Кусок мяса у нее во рту превратился уже в огромный ком, и у нее не было сил проглотить его. Она подняла глаза и посмотрела на сидящую напротив мадемуазель де Куртон. Старая дева смотрела на нее задумчиво, и в ее взгляде было столько печали, что можно было подумать, случилась какая-то беда. Вдруг ей стало невыносимо грустно от этих тяжелых, сочувствующих взглядов отца и старой девы, которые словно оплакивали ее. Было очевидно, что эти взгляды результат разговора, произошедшего между отцом и гувернанткой, она прочла в них свидетельство надвигающейся беды, сути которой пока не понимала. Она никак не могла проглотить этот кусок мяса. Вдруг горло перехватило, и она, припав к столу, разрыдалась, не успев сдержать хлынувшие потоком слезы.



На следующее утро она вошла в кабинет отца:

– Папа, вы сегодня будете работать над моим портретом?

Не дожидаясь ответа на вопрос, который был лишь предлогом для разговора с отцом, она подбежала, обняла отца и положила ему голову на плечо:

– Папа, вы же все равно будете меня любить, как сейчас любите, так и будете любить, правда?

Отец, касаясь губами мягких светлых волос, пробормотал:

– Конечно!

Нихаль замерла на минуту, словно собиралась с силами, и, не отрывая головы от его плеча, словно боясь потерять эту точку опоры – а она не хотела, чтобы она исчезла, сказала:

– Тогда не страшно, пусть она приходит!

Глава 3

Насколько нарядной и кричащей была шляпа мадемуазель де Куртон, ставшая предметом постоянных насмешек Бехлюля, настолько же заурядной и безликой была ее жизнь.

Ее отец, промотав последние крохи былого богатства на скачках на ипподроме Лоншан в Париже, выстрелил себе в голову, метко попав в мозг размером с птичью головку. Выходить замуж было уже поздно, и у мадуазель де Куртон оставалось два пути – либо пойти на панель и запятнать историю аристократического рода, либо жить до конца своих дней бедно, но сохранив честное имя, приживалкой у своих родственников в провинции, – она предпочла второе. Положение приживалки не устраивало ее, поэтому, чтобы отрабатывать свой хлеб, она взяла на себя обязанности по воспитанию и образованию детей, и это полностью изменило ее жизнь. Однажды после нанесенной ей обиды – и как удачно совпало, что именно в тот момент ей предложили место гувернантки, – бедная благородная дева покинула захолустный уголок Франции и отправилась в Бейоглу в одно из богатейших греческих семейств. Здесь она проработала многие годы, жизнь ее проходила на набережных и улицах между Бейоглу и Шишли, от Моста до Бююкдере, другой жизни она не знала. Место гувернантки в доме Аднан-бея стало ее вторым и, видимо, уже последним местом работы.

Нихаль было всего четыре года, когда Аднан-бей счел необходимым взять в дом гувернантку. Желающих было хоть отбавляй. Однако среди девушек, которые хотели устроиться гувернантками в семьи с детьми, в основном были либо проходимки, утверждающие, что они только что прибыли из Франции, а потом же выяснялось, что они уже работали в одном, двух, а иногда и более местах, либо те, кто кое-как выучил французский в сиротских домах при монастырях или работая швеями у портных, и те, и другие пытались надуть Аднан-бея, щеголяя ужасным произношением, но ни одной из них не удалось его провести. Ни одна из претенденток не соответствовала требованиям Аднан-бея, которому было непросто угодить. Кому-то из них уже на второй день вежливо указывали на дверь, присутствие некоторых терпели пару месяцев. На протяжении двух лет гувернантки менялись одна за одной. Некоторые представлялись немками, а на следующий день становилось понятно, что они из софийских евреек; некоторые говорили, что остались вдовами после смерти мужа-итальянца, а потом забыв, что наврали, проговаривались, что вообще никогда не выходили замуж. Аднан-бей уже стал их откровенно бояться и подумывал искать для дочери другой выход.

И вдруг удача – в Стамбуле, когда речь идет о гувернантках, можно доверять только счастливому случаю, – он нашел то, что искал – мадемуазель де Куртон.

У мадемуазель де Куртон была мечта – побывать в Стамбуле в настоящем турецком доме: войти в турецкую семью, пожить турецкой жизнью на родине турок... Когда она ехала на ялы Аднан-бея, ее сердце трепетало от радости в предвкушении, что сейчас ее мечта воплотится в жизнь. Однако когда она вошла в дом, радость обернулась разочарованием. Она представляла огромный холл, выложенный мрамором, величавый купол, покоящийся на каменных колоннах, лежанки с отделкой из перламутра, устланные восточными коврами, возлежащих на них темнокожих женщин с выкрашенными хной руками и ступнями, с подведенными сурьмой глазами, с закрытыми чадрой лицами, с утра до вечера спящих над своими дарбуками³⁶, пока из серебряного мангала распространяется аромат амбры; женщин, не выпускающих из рук украшенную изумрудами и рубинами трубку кальяна, инкрустированного алмазами; она даже в мыслях не допускала, что турецкий дом может выглядеть иначе, чем это изображали европейские писатели или художники в своих произведениях о Востоке, полных вздора и легенд. Оказавшись в небольшой, но красиво обставленной современной мебелью комнатке для гостей,

³⁶ Дарбука – небольшой барабан в форме кубка.

она осуждающе посмотрела на свою спутницу, приведшую ее сюда: «Это правда? Вы уверены, что привели меня в турецкий дом?»

Старая дева никак не хотела признать, что картина, которую она рисовала в своем воображении, не соответствует действительности. И хотя она вот уже много лет жила в центре турецкой аристократической жизни, глубоко в душе она все еще верила, что загадочный образ Востока, который укоренился в ее воображении, все же где-то существует.

Пережив огромное разочарование от того, что она не нашла то, что искала, мадемуазель де Куртон уже в первый день хотела вернуться обратно. И она так бы и поступила, если бы в тот день у нее в душе не родилось глубокое сострадание, смешанное с нежностью, к Нихаль, с трогательной доверчивостью протянувшей ей тоненькие пальчики, Нихаль, уставшей и измотанной от того, что вот уже два года лица гувернанток то и дело менялись, Нихаль с бледным, печальным и болезненным лицом. Сердце мадемуазель было полно нерастраченной любви. Эта несчастная женщина никогда не знала своей матери, не смогла полюбить своего отца, ни к кому не испытывала сердечной привязанности; ее наивное постаревшее сердце билось, лишенное любви, всегда искало того, кого могло бы согреть своим теплом: она находила друзей среди окружающих ее детей, служанок, кошек, попугаев и щедро дарила им любовь, хранившуюся в ее сердце. Но обнаружив однажды в тех, кого любила, пустоту, с болью в душе, но совершенно ясно увидев, что ее любовь проливалась на сухой, неплодородный песок пустыни, она отрекалась от всех этих детей, служанок, кошек, попугаев, которых еще пять минут назад она считала родными.

В тот день, не выпуская руку Нихаль, она сказала:

– Детка, дай-ка я посмотрю на тебя, – и, когда Нихаль подняла длинные, светлые ресницы с загнутыми вверх кончиками, которые придавали ее взгляду странное, немного усталое выражение, и посмотрела на нее своими голубыми глазами с улыбкой, сияющей наивной чистотой, мадемуазель де Куртон, повернувшись к своей сопровождающей и решительно сказала:

– Я остаюсь!

На следующий день она подружилась со всеми обитателями дома. Она тут же прониклась симпатией к Шакире-ханым, Шайесте и Несрин. Хотя она не понимала их языка, ей нравилось, как они ей улыбались и называли ее «Матмазель»; тут же подхватила на руки Джемиле, которая смешно ковыляла на маленьких ножках; потрепала Бешира за подбородок с ямочкой посредине, от которой по его лицу расходилась постоянная улыбка:

– О, моя маленькая черная жемчужинка!

Она осталась довольна прекрасным воспитанием, элегантностью и тонким умом Аднан-бея; тот особенно за столом выказывал ей знаки почтения. К Бехлюлю она не испытывала явной симпатии, но и не проявляла холодности. Однако среди всех обитателей дома она особо выделяла даже не Нихаль, а хозяйку дома.

Мать Нихаль была больна и на тот момент беременна Бюлентом. С ней мадемуазель де Куртон познакомилась последней. На третий день ее пребывания в доме Аднан-бей лично проводил ее в комнату жены. Доктора не позволяли больной выходить из дома и гулять; молодая женщина была обречена сидеть в своей комнате в просторном кресле перед окном. Когда мадемуазель увидела больную, ее худое лицо с тонкими чертами, бледность которого подчеркивали белое платье и светлые волосы, в сердце у старой девы шевельнулось сочувствие.

В тот день больная женщина, увидев приветливое и спокойное лицо, какое могло быть только у человека, прожившего пятьдесят лет, ничем не запятнав свою совесть, несомненно почувствовала к старой деве доверие, которое у нее не вызывали лица гувернанток, менявшихся на протяжении двух последних лет, и обратилась к ней при посредничестве мужа: «Надеюсь, Нихаль не доставит вам много хлопот. Она немного избалована, но по своей природе очень кроткая девочка, поэтому на нее невозможно долго сердиться. Я уже давно не могу ею заниматься. Даже не знаю, почему, но, может, потому, что она в любой момент может остаться

без меня, я хочу как можно меньше видеть ее и думать о ней. Выходит, Нихаль остается на вас сиротой. Вы будете для нее не столько учителем, сколько матерью».

Голос ее дрожал, она с мольбой смотрела на мадемуазель: несчастная мать не столько боялась смерти, сколько переживала за свое дитя. Мадемуазель де Куртон, слушая перевод Аднан-бея, не отрывала глаз от печального лица молодой женщины, пытаясь понять состояние ее души. Последние слова затронули самые чувствительные струны ее сердца: стать матерью! Стать матерью для Нихаль – у нее не было детей, и среди всех лишений, выпавших на ее долю, это было самым горьким разочарованием в ее жизни. В сердце всех несчастных женщин, вынужденных отказаться от своего главного предназначения, могут утихнуть слезы по любым бедам и несчастьям, но одно из них – не познать материнства – это постоянно кровоточащая незаживающая рана, которая отравляет жизнь по капле. Считается, что природа поместила в глубину души женщины колыбель, и невыносимо, когда она пустует. В душе этой старой девы и была такая пустая колыбель, а рядом с ней ютились колыбельные песни, как плач матери, которая хочет укачать хотя бы пустоту. Услышав последние слова больной, она вдруг подумала, что теперь эта пустота заполнится и с этого момента к симпатии, которую она почувствовала к больной женщине, добавилась благодарность.

Как это свойственно людям благородного происхождения, у мадемуазель де Куртон было чувство собственного достоинства, которым она никогда не поступалась. Когда она вошла в дом Аднан-бея, она, демонстрируя свою значимость, поставила несколько принципиальных условий. Она не собирается заниматься повседневными заботами и обслуживанием детей, она будет контролировать, как они одеваются, но мыть и умыть их она не будет. У нее должна быть своя комната, она будет делать то, она будет делать се. Эти условия были перечислены, обговорены и имели силу официально подписанного договора. В тот вечер, после знакомства с матерью Нихаль, она попросила Несрин принести горячую воду и вымыть Нихаль ножки. Несрин, зная, что Нихаль смеется, когда ей щекочут пяточки, специально смешила ее, мадемуазель де Куртон на какой-то момент забыла про свое благородное происхождение, и все ее церемонные манеры мгновенно улетучились, она села рядом, закатала манжеты и, опустив руки в таз, взяла малюсенькую белую ножку и, словно показывая Несрин, как это нужно делать, ласкала, щекотала и смешила Нихаль. Мысль стать для Нихаль матерью отменила все ее условия, и они остались только на бумаге.

Каждый день, закончив до обеда занятия, она брала девочку, они шли в комнату больной матери, и, пока непоседливая Нихаль все переворачивала вверх дном, она, улыбаясь, сидела рядом с больной. Этим двум женщинам было достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы излить душу. В молчании, понятном для обеих, даже без слов, они слышали, понимали друг друга и были подругами.

Когда родился Бюлент, больная настолько сдала, что для всех, включая мадемуазель де Куртон, стало очевидно, что дети обречены лишиться матери. Два года больная женщина провела, как нежный росток, потихоньку сохнувший за стеклом оранжереи, жизнь уходила из нее словно по капле. И вот однажды Нихаль в сопровождении мадемуазель де Куртон отправили на Бююкада³⁷ к старой тетке Аднан-бея. За пятнадцать дней, которые они там провели, девочка ни разу не вспомнила про дом и не спросила о матери. Но в тот день, когда они вернулись, заметив заплаканные глаза встречающих, она тут же все поняла и закричала:

– Мама! Я хочу видеть маму!

³⁷ *Бююкада* – самый крупный из четырех Принцевых островов в Мраморном море на юго-востоке Стамбула. Во времена Византийской империи был дачным местом, во времена Османской империи превратился в греческую деревню. После Крымской войны 1853 г., когда возросло торговое значение Стамбула и среди богатых слоев населения стали приживаться традиции европейского образа жизни, а также когда в связи с развивающимися торговыми отношениями стало приезжать много европейцев, между островами и материком было налажено паромное сообщение и острова снова превратились в дачное место.

Увидев, как растерянные обитатели дома молча прячут от нее глаза, она бросилась на пол в нервном припадке, выкручивающем ей руки и ноги, раздирающем горло, разрыдалась, взывая: «Мама! Мама!», но увы, эти призывы остались без ответа.

Тогда старая дева поняла, что настал час выполнить святую миссию, возложенную на нее: сделать так, чтобы эта сирота забыла о том, что лишилась матери...

Некоторые черты в характере Нихаль настораживали гувернантку. В поведении Нихаль была странная, не поддающаяся анализу противоречивость. В любви, которую к ней проявляли все обитатели дома, начиная с отца, преобладало сострадание. И чувство, что любят ее из жалости, накладываясь на доставшиеся ей в наследство слабые нервы, делало девочку еще более ранимой. В результате ее окружала атмосфера всеобщей покорности, словно любое резкое движение или слово или даже вздох может если не убить этот нежный цветок, но надломить его, и он увянет и побледнеет. В Нихаль жила боль сиротства, и, глядя на нее, у всех, кто окружал ее, на глаза наворачивались слезы.

Возможно это бы не бросалось так в глаза, если бы поведение Нихаль не было таким противоречивым. Перепады в ее настроении и постоянное потакание им создавали вокруг нее порочный круг, в котором еще заметнее становилась ее хрупкость. У нее были такие капризы, что можно было подумать, что это совсем другой ребенок. Особенно ярко это проявлялось в том, как она вела себя с отцом: она вдруг становилась как будто на несколько лет младше, забиралась ему на колени, хотела целовать его в губы, там где их не царапали усы, становилась назойливым ребенком, постоянно требующим ласки. Она хотела, чтобы ее любили еще больше, будто ее потребность быть любимой не удовлетворялась настолько, насколько ей хотелось. Усидеть больше пяти минут на месте, заниматься чем-либо больше пяти минут – этого нельзя было ожидать от Нихаль, которая, казалось, пытается постоянно убежать от тревоги, от глубокой сердечной печали, тайно гложущей ей сердце.

Это беспокоило мадемуазель де Куртон больше всего. Ей никак не удавалось заставить Нихаль хотя бы в течение получаса писать прописи или играть упражнения на пианино; занятия постоянно прерывались и состояли из каких-то отрывочных кусков. Но потом, несмотря на то, что занятия шли кое-как, вдруг каким-то непостижимым образом оказывалось, что Нихаль все выучила.

Иногда у нее бывали долгие периоды раздражительности, дурного настроения, когда с ней не было никакого слладу, и, если они не прорывались потоком слез или не заканчивались нервным припадком, они могли растянуться на многие дни. После слез, конвульсий, истерик на ее лице появлялось выражение покоя, как будто она долго-долго спала, словно приступ измотал ее, но и позволил расслабиться. Причиной этих нервных срывов, которые возникали непредсказуемо по совершенно нелепым поводам и которым непременно нужно было выплеснуться, была ее душевная ранимость. Эти приступы сменялись периодами неудержимого веселья, и тогда просторные холлы ялы и огромный сад наполнялись шумом ее бесконечной беготни вместе Бюлентом, Джемиле и Беширом.

Мадемуазель де Куртон опасалась, как бы эти перепады настроения не сломили слабый организм Нихаль, как ветра, дующие в разных направлениях, столкнувшись в одной точке, переламявают нежную тонкую веточку, оказавшуюся у них на пути.

Чего только ни придумывали они с Аднан-беем, к каким только средствам ни прибегали, чтобы справиться с этими перепадами настроения и привести в равновесие характер ребенка. Но все было напрасно, что бы они ни делали, им не удавалось решить эту загадку.

Особенно сложно оказалось наладить ее отношение к Бюленту. Узнав, что из животика мамы появится ребенок, она летала от радости и хлопала в ладошки, но когда он родился, эта радость стала проявляться иначе. Если раньше она заходила к матери один-два раза в день, то теперь она совсем не хотела выходить из комнаты, капризничала, блажила, никого не подпускала к ребенку, взбиралась на постель к матери и постоянно требовала, чтобы ей дали его

поцеловать. Когда ребенок однажды целую неделю пробыл рядом с матерью, казалось, Нихаль сойдет с ума от ревности. Пришлось забрать ребенка у матери и передать его Шакире-ханым в другой конец ялы. Казалось, Нихаль забыла о Бюленте. Ребенка приносили матери редко и тайком, на ялы Бюлента можно было увидеть только случайно.

Позже, прежде чем забрать ребенка у Шакире-ханым и передать на руки мадемуазель де Куртон, с Нихаль посоветовались: «Мы хотим поручить Бюлента тебе, ты его будешь воспитывать, будешь укладывать его спать в своей комнате, раздевать и одевать. Теперь Бюлент твой». Нихаль попала в эту ловушку. Она согласилась на это с сумасшедшей радостью, и с того дня Бюлент целиком и полностью принадлежал только Нихаль.

В ревности Нихаль, еще с тех пор, как она была совсем маленькой, не было подленького коварства, свойственного ревности почти всех детей: она не кусала ребенка тайком за палец, не щипала за руку. Ее ревность была другого рода. Складывалось впечатление, что она ревновала не всех к Бюленту, а Бюлента ко всем, это она должна быть ближе всех к Бюленту, и путь к сердцу Бюлента должен лежать через ее сердце.

В доме стало обычаем – началось это как шутка, но потом постепенно приобрело силу закона: если с Бюлентом что-то происходило, обращались к Нихаль, если нужно было Бюленту дать выговор или совет, поручали это Нихаль; мало того, если Бюлент плохо себя вел, то грозили тем, что расскажут Нихаль.

Когда умерла их мать, повинуясь неосознанному велению души, Нихаль еще больше сблизилась с Бюлентом. Природное чутье словно направляло эту маленькую девочку стать матерью Бюлента, но такой матерью, что ревнует своего ребенка ко всем, и каждый раз, когда кто-то дотрагивается до него, в ее душе что-то рвется.

Однажды Аднан-бей подбрасывал Бюлента на коленях. Нихаль смотрела в другую сторону, лишь бы не видеть этого. В какой-то момент, когда отец не удержался и стал целовать пухлые щечки хохочущего Бюлента, Нихаль повернула голову, не выдержала, и подойдя к ним, втиснулась между ними так, словно хотела стать препятствием на пути этих поцелуев. Когда отец остановился и посмотрел на нее, она покраснела, но призналась: «Ох, ну хватит, папа... Мне это неприятно!» Все состояние легко уязвимой души Нихаль было заключено в этих словах. С того дня Аднан-бей старался не ласкать Бюлента при Нихаль. Однако теперь Нихаль взяла за правило: стоило ей понять каким-то шестым чувством, что человеку хочется поцеловать или погладить Бюлента по голове, боясь, что он сделает это без ее разрешения, она говорила что-то вроде: «Почему вы никогда не приласкаете Бюлента?»

И если кто в этом мире смог избежать подобных тревог и был освобожден от соблюдения этих правил, да и вообще ничего об этом не ведал, так это был Бюлент. Его интересовало только одно: смеяться... И лучше всех в мире его смешила Нихаль, она легко могла вызвать у него приступ самого безудержного хохота. Особенно когда брат и сестра оставались одни и никто третий не встревал между ними.

Их спальная комната была на самом верхнем этаже, окна смотрели в сад. Из большого холла сюда вел довольно широкий коридор. В первой комнате спал Аднан-бей, в третьей – мадемуазель де Куртон, а в комнате между ними – дети. Так они были вроде бы и одни, но с одной стороны был отец, с другой – гувернантка. Между обеими комнатами были двери, и по ночам их не закрывали, комнаты разделяли только занавески. В четвертой, последней комнате дальше по коридору для детей была оборудована комната для занятий. Эта комната, где проходили уроки, всегда была головной болью для мадемуазель де Куртон. Она клялась, что в мире нет другого такого места, где царил бы такой беспорядок, – это скорее было поле, где гулял ветрами ураган под именем Бюлент, чем комната для занятий.

Аднан-бей, который был помешан на порядке до того, что устраивал скандал из-за сдвинутого с места столика для сигар, не мог войти в эту комнату детей, он утверждал, что каждый

раз, когда он туда заходит, у него начинается мигрень. Здесь Бюленту разрешалось творить абсолютно все при условии, что больше нигде в доме он ничего не будет трогать.

Бюлент же использовал это разрешение так, словно мстил за то, что нигде больше на ялы он не мог оставить свои следы. Здесь были низенькие парты: он однажды изрезал их на свой вкус и цвет ножами для резьбы, которые стянул у отца; из журналов «Фигаро», которые выписывала мадемуазель де Куртон, он делал кораблики, колпачки, корзинки, их развешивали на стены, на ручки окон, на край письменной доски. Из всех старых книг и обложек от нотных тетрадей сестры он вырезал картинки и приклеивал их на окна, на двери, а один бумажный зонтик он наклеил на географическую карту, и теперь тот, подхваченный попутным ветром, плыл по океану из Европы в Америку. Тысячи сломанных игрушек, разорванных книжек убирали каждое утро и вечер, но стоило Бюленту сюда заглянуть, и все словно оживало и некуда было ни шагнуть, ни сеть от мелочей, разбросанных по всей комнате, словно здесь пошалили непослушные котята.

Сейчас у Бюлента появилось новое увлечение: он разрисовывал карандашом стены. Из его безудержной фантазии сегодня возникал корабль, завтра верблюд, постепенно весь низ стен заполнялся рисунками. Поскольку уже не осталось места там, куда он доставал, в голове у Бюлента вот уже два дня вертелась новая задумка. Он еще не уговорил Нихаль – пока она не разрешила, но она всегда так делала: сначала не разрешала, а потом, увидев, что ее послушались, не видела необходимости запрещать... Ох, вот было бы здорово! Бехлюль принес ему целую коробку красок. Каких только цветов там нет, он мог бы раскрасить все рисунки. Верблюда он сделал бы красным: «Ведь правда, сестра, ведь верблюд красный?» Нихаль пока не смягчилась. Она только говорила: «Ты с ума сошел?» – и не рассказывала, какого цвета верблюд.

Почти вся их жизнь проходила в этой комнате. По утрам они просыпались, умывались, одевались, вместе с мадемуазель де Куртон спускались в столовую, пили кофе с молоком, в хорошую погоду около часа гуляли в саду, Бюлент бегал с Беширом, Нихаль сидела с мадемуазель под высоким раскидистым каштаном, потом старая дева смотрела на часы, которые всегда висели у нее на груди, и говорила: «Пришло время уроков». Они шли в дом и поднимались в свою комнату.

Начинались уроки. Нихаль переводила отрывки о нравственных устоях, переписывала стихотворения в прозу, училась писать деловые письма, необходимые в повседневной жизни, вечером она покажет все это отцу, и он исправит. Пока мадемуазель де Куртон занималась с Нихаль, Бюлент сидел по другую сторону письменного стола и не вынимал перо из чернильницы, он никак не мог заполнить до конца тетрадь с глаголами. Иногда мадемуазель де Куртон бросала на него взгляд и призывала к порядку: «Бюлент!» Бюленту в конце концов надоедал глагол, который он со всей серьезностью мог написать лишь до формы второго лица единственного числа, между столбцами несколькими кривыми-косыми линиями он пристраивал дворец, а прямо посередине страницы рисовал горшок, в котором росло нечто, в чем, приложив некоторые усилия, можно было угадать цветок.

Паузы, которые возникали по вине Бюлента, для Нихаль были настоящим спасением. После того как она написала восемь строчек, ей непременно надо было передохнуть, она только и ждала, когда подвернется удачный момент, и, зацепившись за какое-либо трудное слово, попавшееся ей на уроке, затевала длинный разговор с мадемуазель де Куртон, а пока мадемуазель де Куртон, встав со своего места, расчищала страницу от дворцов и горшков в тетради Бюлента, она подбегала к окну и выглядывала в сад. В конце концов урок Нихаль кое-как, с переборами, но заканчивался, после десятиминутного перерыва начинался урок Бюлента.

Было решено, что пока мадемуазель де Куртон занята с Бюлентом, Нихаль будет заниматься игрой на пианино, вышивкой за пяльцами, шитьем и ручной работой. Но так как она была не в состоянии заниматься чем-то более получаса, ей разрешалось переходить от пианино

к пальцам, а от пальцев к шитью тогда, когда ей захочется. Старая дева не знала, как еще справиться с этой стрекозой.

Мадемуазель де Куртон уже так привыкла, что Нихаль, не сосредоточиваясь ни на чем и толком не занимаясь, все выучивала, что этому она уже не удивлялась, но она не могла сдерживать восхищения от того, как быстро Нихаль делала успехи в игре на фортепьяно. То, что другим давалось с трудом и достигалось путем упорных упражнений для развития беглости пальцев, у Нихаль получалось само собой или ей хватало одного дня. Все этюды Черни³⁸ казались для нее детской забавой. Сейчас она разучивала *Gradus ad Parnassum* Клементи³⁹, за который боялась браться даже мадемуазель де Куртон. Она легко, повинувшись какой-то внутренней интуиции, словно видела или слышала их раньше, исполняла отрывки из итальянских опер Чимароза, Доницетти, Меркаданте, Россини, которые пачками приносил Аднан-бей. Мадемуазель де Куртон не переставала удивляться этому. Старая дева говорила Аднан-бею: «Вы знаете, на это уходит обычно не менее шести лет. Но тут нет ни моей, ни ее заслуги. Должно быть в пальцах этой девочки живет дух Рубинштейна»⁴⁰.

В глазах мадемуазель де Куртон только присутствием в пальцах Нихаль гениального таланта Рубинштейна можно было объяснить этот невероятный факт и разрешить эту музыкальную загадку. Отныне она не видела необходимости искать другое объяснение.

Среди опер, принесенных отцом, была опера «Тангейзер» Вагнера⁴¹ – мадемуазель де Куртон решительно запрещала Нихаль ее играть. Нихаль же, напротив, каждый день, улучив момент, когда Бюлент очень сильно рассердит гувернантку, обязательно начинала играть именно эту, запрещенную, вещь. Тогда мадемуазель де Куртон отвлекалась, забывала про Бюлента, подбегала к пианино: «Но, дитя мое, сколько раз я вам говорила, чтобы сыграть эту пьесу, у человека должны быть пальцы немца. Вы переиграете себе руки, и если бы только это, вы разрушите ваше понимание, ваше восприятие музыки! Представьте себе: такая буря, что опрокидывает трубы, срывает черепицу, вырывает с корнем деревья, рушит скалы, представьте весь этот грохот, а потом воплотите это в музыку – это есть месье Вагнер!»

Для нее творчество Вагнера было абсолютно неприемлемым. Стоило произнести его имя, и, казалось, даже кровь в жилах этой аристократической девы с презрением освистывает немецкого гения.

После этого продолжать занятия становилось невозможно, старая дева удалялась в свою комнату и не покидала ее до обеда, а дети были предоставлены себе и могли делать что хотели.

Нихаль шла к отцу. На самом деле внизу в своем кабинете Аднан-бей с нетерпением, то и дело поглядывая на часы, ждал этих утренних визитов дочери.

О, как прекрасны были эти счастливые часы, которые они проводили вместе. Она так обожала, так страстно любила своего отца, что никогда не могла вдоволь насладиться этим временем. У нее в душе жила неутолимая потребность быть любимой, быть любимой с каждой секундой все больше и больше. Рядом с отцом она становилась еще более своевольной, щебечущей птичкой, порхающей с места на место бабочкой. Ей всегда было что рассказать: она цеплялась за что-то, что она видела или слышала на уроках, и это становилось поводом задать отцу кучу вопросов. А тот без усталости, даже с удовольствием, отвечал на них, забавляясь этими беседами, хохотал над неожиданными выходками или меткими замечаниями Нихаль, дурачился рядом с ней как дитя, словно и разницы в возрасте между ними не было.

³⁸ Черни, Карл (1791–1857) – австрийский пианист и композитор.

³⁹ Клементи, Муцио (1752–1832) – итальянский композитор и пианист. Наиболее известны сонаты Клементи. «Ступень к Парнасу» – одно из его произведений.

⁴⁰ Рубинштейн, Антон (1829–1894) – русский пианист и композитор.

⁴¹ Вагнер, Рихард (1813–1883) – знаменитый немецкий композитор, оказавший большое влияние на музыку данной эпохи, автор таких опер, как «Парсифаль», «Тристан и Изольда», «Кольцо Нибелунга» и многих других.

После обеда Аднан-бей отправлялся в Стамбул. Тогда, если не была запланирована долгая прогулка с мадемуазель де Куртон, дети весь день бродили из угла в угол по ялы, ожидая возвращения отца. Любимым местом Нихаль в такие дни была кухня Шакире-ханым.

Эта кухня на женской половине дома служила для всех отдушиной. Иногда Аднан-бею надоедали блюда его повара, который вот уже многие годы придерживался одного и того же определенного меню, и он просил Шакире-ханым приготовить ему фаршированные мидии, татарский пирог или курицу по-черкесски. Это делалось в строгом секрете от Хаджи Неджипа, и если случайно ему становилось об этом известно, он дулся и неделями избегал Аднан-бея.

Однажды он увидел раковины от мидий и, заявив, что со своим сорокалетним опытом смог бы нафаршировать мидии не хуже Шакире-ханым, чуть было не хлопнул дверью. Они постоянно пререкались с Шакире-ханым, он ругался, если та подавала еду через вращающийся шкафчик⁴², он то и дело говорил: «Либо вынесите погреб наружу, либо пусть кухня полностью остается в доме».

Иногда конфликт достигал таких масштабов, что мужу Шакире-ханым, Сулейману-эфенди, выполнявшему в доме обязанности эконома, приходилось брать на себя роль посредника и мирить враждующие стороны. От этих стычек в доме больше всего удовольствия получали Бюлент и Бешир. Мало того, иногда они сами подливали масло в огонь и провоцировали ссору.

Когда Шакире-ханым просили что-то приготовить, Нихаль умоляла:

– Дорогая сестренка! Подожди меня, хорошо? Давай вместе приготовим!

Тогда Нихаль, Джемиле, Несрин и даже иногда Шайесте, которая заходила на кухню, чтобы дать нагоняй Несрин, и тоже застревала там, вертелись вокруг Шакире-ханым и устраивали в маленькой кухоньке светопреставление.

Кухонька находилась на втором этаже ялы, это была солнечная комнатка, окна которой, заросшие плющом, выходили в сад, пол был выложен белым мрамором, она всегда сияла чистой, а свежими ароматными запахами у всякого вызывала аппетит. Кастриули, сковородки, купленные на «Базаре Аллеманд»⁴³, были настолько красивы и элегантны, что ими можно было бы украсить гостиную; под лучами солнца, просачивающимися сквозь густую зелень плюща, они сверкали чистотой и отбрасывали блики по всей комнате. Здесь на этой милой кухоньке с людьми, которые, как она чувствовала, были привязаны к ней всем сердцем, с шутками, притворными ссорами, перепалками, хохотом, Нихаль проводила часы, купаясь в счастье, которое согревало ей душу.

Вечером она с нетерпением ждала возвращения отца и прямо с лестницы кричала ему:

– Папа! Сегодня я вам такое приготовила!.. Спросите Шакире-ханым, она мне совсем не помогала, я все делала сама.

В хорошую погоду они отправлялись на вечернюю прогулку с отцом. Мадемуазель де Куртон эти часы проводила в саду за чтением произведений месье Александра Дюма⁴⁴.

Молодым девушкам нельзя позволять читать романы – это правило мадемуазель де Куртон неукоснительно соблюдала в отношении Нихаль. Но сама она обожала романы, особенно Александра Дюма. Все свое время, когда была избавлена от необходимости отвечать на бесконечные пытливые вопросы Нихаль, она посвящала чтению. Ее любовь к романам была столь велика, что, казалось, ее жизни, ее чувствам передалось что-то от Александра Дюма и ему подобных. Романы будто бы надели на нее цветные очки и краски окружающего мира пере-

⁴² *Вращающийся шкафчик* – шкафчик, встроенный в стену между кухней и столовой, мог поворачиваться вокруг своей оси и таким образом блюда из кухни подавались в столовую.

⁴³ «*Базар Аллеманд*» – торговый дом на проспекте Истикляль, д. 357, специализировался на продаже кухонной утвари. В настоящее время торгует посудой производства турецкой марки «Пахабахче».

⁴⁴ *Дюма, Александр* (сын) (1824–1895) – французский драматург и прозаик. Его драма «Дама с камелиями» была очень популярна в Турции и часто ставилась на сцене приезжающими в Стамбул французскими театрами.

менились. Она смотрела на жизнь, которая проходила мимо нее и в которой она была лишь созерцателем, через эти очки, и чтобы понять людей, которые ей попадались на жизненном пути, судить о каких-либо происшествиях своей небогатой на события жизни, она обращалась к совету этих книг, каждую из которых бережно хранила в своей памяти и, только найдя в них подобную ситуацию, делала выводы. События, о которых в этих романах не говорилось ни слова, она считала выдуманной чепухой, которой даже не стоит придавать значения.

В тот вечер, когда Нихаль передала ей, что ее хочет видеть Аднан-бей – а такое случилось в первый раз за шесть лет, она почувствовала неладное. Она тут же стала перебирать в памяти, на какой из романов она сможет опереться в поиске ответа.

Когда Аднан-бей в надежде, что старая дева догадается, о чем идет речь, начал разговор издалека, сказав, что так дальше не может продолжаться, она все так же пребывала в недоумении. И только тогда, когда он открыто заявил о намерении жениться, ее озарило – словно молния яркой вспышкой пробила темные тучи туманных фраз, и удивленная и потрясенная мадемуазель де Куртон замерла с открытым ртом. Нет, нигде в ее романах не было ничего подобного, там не говорилось, как следует поступить в такой ситуации, поэтому она не поверила своим ушам, и, несмотря на правила приличия, которые требовали соблюдать с Аднан-беем дистанцию, у нее вырвалось:

– Вы шутите!

Поняв, что это не шутка, а страшная правда, старая дева не удержалась и, встав с места, спросила:

– Но Нихаль, как же Нихаль?! Это убьет ее, вы понимаете? – Увидев, что Аднан-бей опустил глаза и не отвечает, она почувствовала, что головные боли Нихаль меньше всего заботят ее потерявшего голову отца. Наконец Аднан-бей ответил:

– Нет, вы ошибаетесь. Оказывается, вы не слишком хорошо изучили Нихаль, нужно только принять некоторые меры предосторожности. За этим я и обратился к вам.

Вот так на нее была возложена эта важная миссия. Она пыталась отказаться и даже сказала, что готова покинуть дом, лишь бы ей не пришлось брать на себя эту тяжелую обязанность. Потом вдруг подумала, что на самом деле именно сейчас она больше всего нужна Нихаль. Только близкая душа сможет облегчить удар, который это ужасное решение нанесет слабому организму, и это может быть только ее душа.

Выходя из комнаты Аднан-бея, мадемуазель де Куртон еле держалась на ногах. До ужина она избегала Нихаль, а за столом, глядя на нее, ей хотелось плакать.

Она получила строгое указание сегодня же вечером поговорить с Нихаль. После того как Бюлент уснул и разговор с Нихаль состоялся, она успокоилась. Она сказала себе: «Видимо, отец прав».

Она объяснила Нихаль, что в доме появится женщина, что женщина всегда будет сидеть с ними за одним столом, что у нее будет своя комната и что эта женщина будет очень сильно любить Нихаль. Нихаль выслушала все это очень хладнокровно и не выказала никаких признаков удивления, словно не услышала для себя ничего нового. Ее интересовали только некоторые детали. Где будет комната этой женщины? Красива ли она? Красивее, чем Нихаль? Как ее будет называть папа? В какой комнате она будет спать? Будет ли она заниматься Бюлентом? Будет ли Бешир по-прежнему принадлежать Нихаль? Кроме того – этот вопрос она задала последним – будет ли отец любить Нихаль так же, как любил раньше?

Получив утвердительный ответ на последний вопрос, Нихаль посмотрела на Бюлента: полог кровати был еще не опущен, было видно, как тот улыбался во сне, видимо, ему снилась их прогулка в экипаже, и думала, думала, думала. Наконец мадемуазель де Куртон сказала:

– Теперь отец ждет твоего согласия, если ты согласишься, она приедет. Завтра утром ты скажешь своему отцу, хорошо, детка?

Нихаль тихонько кивнула, и в ту ночь, оставшись одна, она склонилась над Бюлентом, к его счастливо улыбающемуся лицу, будто хотела прочно закрепить на его лице эту счастливую улыбку, запечатлела на нем долгий поцелуй, потом, повинувшись какому-то интуитивному чувству, словно поняла, что с этой ночи между нею и отцом должна быть преграда, впервые прикрыла дверь, ведущую в комнату отца.



- Бехлюль-бей!
- Нихаль-ханым?
- Почему вы не смотрите на меня?

Бехлюль стоял на скамейке и пытался подсунуть фотографию за рамку в углу картины на стене. Снова не поворачивая головы, ответил:

- Разве мы не в ссоре?

Нихаль хотела помириться, как ребенок, который не может долго на кого-то сердиться:

- А-а-а-а, я совсем забыла! Да, вчера мы были в ссоре, не так ли? Может мне уйти?

Бехлюль спрыгнул со скамеечки:

– В рамке совсем нет зазора. Еще немного – и стекло бы треснуло. Помахивая фотографией в руке, он смотрел на стены.

– Куда же ее пристроить? Нихаль, я тебе кое-что скажу. Знаешь, почему ты не можешь на меня долго обижаться? Потому что если ты будешь обижаться, ты не сможешь затеять ссору! Чтобы снова поссориться, нужно сначала помириться.

Нихаль, смеясь, подвинула скамеечку к себе и села.

– А вот и нет, ты ошибаешься. Ты же сегодня собираешься в Стамбул? Мне нужно многое заказать. Вот причина, чтобы помириться.

– Это невозможно, – стал сопротивляться Бехлюль. – Нихаль, поручи кому-нибудь другому. Эти мелкие поручения меня так утомляют. Тем более сегодня... – Размахивая руками, стал рассказывать, как много у него дел. Потом ему в голову пришла мысль:

- Ну-ка, покажи свой кошелек, сколько у тебя денег?

- Какой бестактный вопрос...

– Ну как хочешь! Теперь я ничего бесплатно делать не собираюсь. Если ты мне можешь дать в долг, тогда другое дело.

Нихаль достала кошелек из кармана, открыла и высыпала содержимое на подол платья:

– Ох, если бы ты знал! Мне столько всего нужно сегодня. Шелк купить – раз, Бюлент сломал ножницы и сделал себе кинжал, надо купить ножницы – два; Бешир уже сколько времени просит купить ему красную феску с синей кисточкой – три...

Бехлюль отвернулся и отошел:

– Я передумал. Вы еще и просьбами Бешира меня нагружаете для полного счета. Где найти красную феску с синей кисточкой? Придется еще и на рынок ехать. Да и денег в долг для меня у тебя нет. – Он снова повернулся к Нихаль: – Давай ты сейчас пойдешь к отцу, высыпешь перед ним свои денежки и...

Нихаль собрала деньги и положила обратно в кошелек.

– Я передумала! – От мысли пойти сегодня просить денег у отца лицо Нихаль мгновенно переменялось. Она задумчиво посмотрела на Бехлюля, потом сказала:

– Ты наверняка слышал важную новость. Ведь он от тебя ничего не скрывает...

Вдруг в разговоре снова появились враждебные нотки. Отношения кузенов с самого детства были таковы, что было достаточно искры, чтобы между ними разгорелась ссора. Бехлюль спросил:

– Кто?

– Он, – ответила Нихаль, кусая губы.

– Это не слишком красиво говорить об отце «он». Нихаль, вместо того, чтобы постепенно взрослеть, ты, наоборот, с каждым днем становишься все более капризным ребенком. Раз тебе никто об этом не говорит, пожалуй, я скажу. Мадемуазель де Куртон же некогда, она только и делает, что выбирает себе цветы для шляпки и кружева на платье. И что это за слезы были вчера за ужином?

Нихаль побледнела. Она сидела неподвижно на скамеечке и слушала Бехлюля. Она сглотнула слюну, словно ей сдавило горло, и заставила себя произнести:

– Видишь ли, у меня сегодня совсем нет желания с тобой ссориться.

Затем развела руками:

– У меня нет сил.

В ее голосе была такая мучительная боль, что Бехлюль вдруг понял, что этот разговор совсем не похож на их детские ссоры. Они смотрели друг на друга. Бехлюль, призывая ее к благоразумию, сказал:

– Нихаль, я думаю, что ты относишься к этому с предубеждением. Узнай ее сначала, посмотри на нее, вдруг ты ее полюбишь. Тебе ведь тоже скоро придется стать женщиной. Тебе понадобится особое воспитание, этому тебя ни мадемуазель де Куртон, ни Шакире-ханым не научат. Да и порядок в доме... Признайся, то, что сейчас, никуда не годится. Если в дом войдет женщина...

Нихаль с каждым его словом становилась все бледнее. После того, как сегодня утром она вышла от отца, она пришла сюда с надеждой, что обретет в Бехлюле союзника, что хотя бы в этом вопросе он встанет на ее сторону. Она сидела неподвижно. Бехлюль же продолжал:

– Да, если в дом войдет женщина, все в нем изменится; эти слуги совершенно распушены, живут как хотят. Вот посмотришь, как она с ними управится; а Бюлент, а ты? Понимаешь, Нихаль? Красивая, нарядная, молодая, изящная мать для тебя...

Бехлюль не успел закончить предложение, Нихаль словно пружиной подбросило, она вскочила и, вытянув к нему руки, устало воскликнула:

– О, хватит, хватит! Я не хочу этого слышать, Бехлюль.

Бехлюль замолчал, он вдруг понял свою ошибку. Он хотел было, как всегда, все обратить в шутку, но в голову ничего не приходило. Нихаль собиралась что-то добавить, но передумала и медленно вышла.

Бехлюль был из тех молодых людей, которые к двадцати годам уже прекрасно разбираются в жизни; покидая стены школы и отправляясь во взрослую жизнь, они не чувствуют ни малейшего страха, им неведом тот трепет сердца, который испытывает актер, впервые выходя на сцену, жизнь для них – комедия, все хитроумные повороты которой они изучили еще в школе. Вот уже год Бехлюль жил самостоятельной жизнью, которую определял для себя не иначе, как огромная комедийная сцена. Единственный повод, по которому он испытывал недомогание, состоял в том, что в этой жизни не было ничего, чего бы он раньше не знал или не открыл для себя.

Отец Бехлюля получил должность чиновника в одном из вилайетов и уехал, Бехлюля отправили учиться в интернат Галатасарайского лицея⁴⁵. Один раз в неделю он приезжал на ялы своего дяди Аднан-бея. Его отец был так далеко, что на каникулах, вместо того чтобы отправляться в путешествие в бог знает какую глушь, он оставался на ялы и использовал это время для того, чтобы совершенствовать знания, полученные в школе, в гуще стамбульской жизни.

Он не был мечтателем, он видел жизнь во всей ее прозаичности и заурядности. Сидя за партой, положить голову на учебник геометрии и улететь вслед за прекрасной мечтой, глядя на кусочек голубого неба, видневшийся из окна, – это было не про него. Он учился, чтобы знать то, что следует знать образованному человеку, чтобы не быть невеждой. Он не строил воздушных замков по поводу своего будущего, не воспевал в стихах свою молодость. Жизнь представлялась ему увеселительной прогулкой. С его точки зрения тот, кто мог позволить себе развлекаться в свое удовольствие, имел больше всего прав на жизнь.

Развлекаться... У Бехлюля даже это слово обретало другой смысл. На самом деле его ничто не развлекало. Он бывал во всех увеселительных заведениях, постоянно выискивал, над чем посмеяться, возможно, смеялся больше всех, но было ли ему весело? Он выглядел веселым, и выглядеть веселым для него и означало быть веселым. За всем его весельем и смехом на самом деле пряталась скука, которая и влекла его от одного увеселительного заведения в другое. Один вечер он проводил в оперетте в Тепебаши⁴⁶, на следующий день его видели в Эренкёй⁴⁷ на виноградниках, преследующим черный чаршаф. В воскресенье он отвозил одну из певичек Конкордии⁴⁸ в Маслак в экипаже, в пятницу слушал саз в Чирчир Сую⁴⁹. В Стамбуле не было ни одного заведения, где бы Бехлюль не нашел чего-нибудь себе по вкусу. В Рамазан он прогуливался по Дилеклерарасы⁵⁰, зимой веселил своими шутками публику на балах в «Одеоне»⁵¹. Еще в юности он завел себе многочисленных друзей. Эти дружеские связи, зародившиеся в многонациональной атмосфере интерната, после его окончания еще более разрослись и окрепли, и во всех уголках страны были люди, которые были рады его приветствовать и пожать ему руку.

У него было такое количество приятелей, он со столькими различными людьми водил дружбу, что не мог найти времени ни с одним из них завязать более близкие отношения. Собственно говоря, единственное, что ему было нужно, это не гулять по Бейоглу в одиночку, не сидеть одному за столиком в «Люксембурге»⁵² и не скучать в одиночестве в экипаже, если он отправлялся в Кагытхане.

Он смотрел на людей так, будто они созданы и нужны только для того, чтобы разбавлять его одиночество, и ни разу не случалось так, чтобы он не нашел себе кого-нибудь в компанию.

Его все любили, ему везде были рады. У него был такой смех, что заражал любого и развеивал самые грустные думы. Где бы он ни появлялся, его щедрый ум рассыпал остроты

⁴⁵ *Галатасарайский лицей* – первый лицей, был открыт 1 сентября 1868 г. в Бейоглу в Галатасарае на основе программы, разработанной Министерством просвещения Франции, предназначен для обучения турков, греков, армян, болгар и др., образование велось на французском языке, и большинство преподавателей были французами. В настоящее время, хотя система образования претерпела некоторые изменения, некоторые предметы в лицее преподаются на французском языке.

⁴⁶ *Оперетта в Тепебаши* – в тот период европейские актеры приезжали с зимними турне и давали представления в здании городского театра.

⁴⁷ *Эренкёй* – дачное место на азиатском берегу Стамбула между Гёзтепе и Суадие.

⁴⁸ *Конкордия* – сцена летнего сада на проспекте Истикляль (д. 325–327).

⁴⁹ *Чирчир Сую* – место гуляний по дороге из Бююкдере в Бендлер, славится своей вкусной водой.

⁵⁰ *Дилеклерарасы* – район в Стамбуле в Шехзадебашах, славился своими развлечениями особенно в праздник Рамазан, здесь были театры, музыкальные салоны, где играли на сазе.

⁵¹ *«Одеон»* – здание театра Одеон находилось на проспекте Истикляль на месте современного кинотеатра «Люкс». Здесь проходили гастроли зарубежных театров, на сцене Одеона выступала Сара Бернар.

⁵² *«Люксембург»* – кафе, находилось на месте современного кинотеатра «Сарай» на проспекте Истикляль.

и каламбуры, и они расцветали как цветы, посеянные на плодородную почву. Их собирали, передавали из уст в уста, и они разносились по всей стране. Стоило произойти какому-либо событию или появиться какой-то новости, за ними тут же следовали изящный каламбур, острое словцо или забавная шутка Бехлюля.

Ему всегда было что рассказать. Страница, прочитанная в книге, или анекдот, увиденный в газете, были для Бехлюля источником для комментариев. Его слушали и непременно смеялись. И все те, кто его слушал и смеялся над тем, что он говорил, в его глазах были не более чем толпой глупцов, на самом деле веселился он сам. Окружающие были для него всего лишь инструментом для получения удовольствия, и он использовал их тогда, когда они были ему нужны.

Ему было важно, чтобы ему все подражали. Он задавал тон моде среди молодых людей высшего света. Когда дело касалось различных деталей и аксессуаров в одежде, многие обращались к его идеям, как к идеям самого передового человека в области изысканного вкуса. Духи, галстуки, трости, перчатки, все эти бесполезные, но такие необходимые вещи, – у Бехлюля всегда было что-то новое, что можно было позаимствовать себе в гардероб.

Каков же был моральный облик этого человека?

Этот вопрос до сегодняшнего дня даже сам Бехлюль не видел необходимости себе задавать, да и времени у него на это не было. У него были некоторые убеждения: он верил, что деньги – это великая сила; считал, что главное условие для того, чтобы быть хорошим человеком, – это хорошо одеваться; не сомневался, что его основной долг состоит из следующих пунктов: по отношению к людям – как можно больше с ними веселиться, по отношению к стране – посещать как можно больше мест для гуляний и тратить там деньги, по отношению к себе – ни в чем не отказывать этому шаловливому мальчишке.

Он ничему не удивлялся в жизни, только поражался наивности тех, кто не принимал эту его нравственную философию. В своей речи словечко «Удивительно!» он использовал только по этому поводу. Он считал, что совершенно ожидаемо, что если часто показывать изобретение Эдисона в цирке, оно превратится в приевшийся всем аттракцион. Все новое, что появлялось в жизни, было ему уже давно известно, словно это уже давным-давно устарело, просто все остальные узнали об этом только сейчас, и он проходил сквозь строй тех, кто с удивлением открывал рты, лишь пожимая плечами. Если в повседневной жизни случалось что-то, что другим казалось необычным, для Бехлюля это было прописной истиной.

Иногда, когда его друзья рассказывали о событии, поразившем их, он выносил приговор: «Такое случается сплошь и рядом» – и отворачивался. Даже когда Аднан-бей сообщил ему: «Знаешь, Бехлюль, я женюсь на дочери Фирдевс-ханым, вот тебе красавица-йенге...»,⁵³ это не вызвало у Бехлюля ни малейшего удивления. «Этого и следовало ожидать», – сказал он.

Когда Нихаль вышла, Бехлюль, стремясь поскорее отделаться от неприятного осадка, который остался у него в душе от того, что он не нашел правильных слов, снова взял в руки фотографию, огляделся и наконец решил ее засунуть в японский веер⁵⁴. Разместив фотографию, он сказал сам себе: «Этот брак не так плох, но Нихаль он не принесет ничего хорошего. Бедная девочка!» Несмотря на то, что с самого детства они все время спорили и даже до смерти обижались друг на друга, между ними несомненно была дружба, разрушить которую было так же трудно, как разорвать кровную связь.

Их отношения представляли собой бесконечную череду ссор и раздоров. Бехлюль брал на себя роль старшего брата на том основании, что он был старше на восемь лет; он критиковал Нихаль за то, что она ведет себя как малое дитя, осуждал те методы воспитания, которые

⁵³ *Йенге* – невестка, жена дяди.

⁵⁴ *Японский веер* – большой декоративный веер из тонкой соломки, в форме прямоугольного треугольника, разрисованный японскими рисунками, его вешали на стены в гостиных, кабинетах или спальнях и прикрепляли на него визитные карточки или фотографии; такой веер служил своего рода настенным альбомом.

применялись к ней, говорил, что из этой девочки вырастет лишь капризный ребенок и не что иное, и получал странное наслаждение, мучая ее. Это сводило Нихаль с ума. Она никогда не оставляла без ответа ни одно из замечаний Бехлюля, давала отпор резким словом или позой, и в конце концов разгоралась ссора. В этих ссорах Бехлюль всегда старался выйти победителем, вспыльчивые выпады Нихаль тонули в насмешках и хохоте Бехлюля, на которые ей нечего было возразить. Между ними всегда была проблема, которую нужно было уладить, ссора, которой следовало положить конец.

Такого рода отношения всегда держали их в тонусе, заставляя соперничать и ждать удачного случая, когда внезапно озарившая умная и тонкая мысль позволит одному из них одержать верх в сражении, в котором не было победителя. Они искали друг друга, после каждой ссоры мирились, сначала они смеялись, полностью забывая про раздоры, потом вдруг одно слово, один взгляд, пустяк – и снова ссора: Бехлюль словно развлекался, подначивая ребенка, Нихаль же приходила в бешенство от его притворной задиристости.

Сегодня у Нихаль не было сил спорить. Когда она вышла, где-то в самой глубине сердца Бехлюля шевельнулось сострадание, откликнувшись ноющей болью, она возникла против его воли, и ему никак не удавалось ее заглушить. Пристроив наконец фотографию на японский веер, он немного отступил назад и, руководствуясь своей философией ничему не придавать значения, утешил себя:

– Через неделю она наверняка привыкнет.

Он смотрел на фотографию, но не видел ее, голова все еще была занята этими мыслями. В какой-то момент он вспомнил слова своего дяди.

– Да, – сказал он себе. – Прекрасный брак, прекрасная йенге, прекрасная мать и прекрасная сестра! Все прекрасно! Вот и мы теперь из семейства Мелих-бея.

Желая поделиться этой мыслью с фотографиями, заполнившими все стены, он взмахнул рукой и вдруг, подчиняясь душевному порыву, сделал пару туров вальса, упал в кресло и закричал:

– Ура-а-а-а!

Глава 4

Был жаркий августовский день. Вот уже пятнадцать дней, как мадемуазель де Куртон объявила каникулы. По утрам они проводили время в саду, иногда к ним присоединялись Аднанбей и Бехлюль. Этим утром в беседке все были чем-то заняты. Бехлюль наконец-то привез для Бешира красную феску с синей кисточкой, но курчавые волосы Бешира на его великоватой голове отрасли больше, чем обычно, и феска не налезала. Они решили совсем состричь волосы машинкой. Бешир вот уже два дня прятал машинку для стрижки и не давался Бюленту, который непременно хотел сделать все сам. Но Бюленту так хотелось подстричь Бешира, что Нихаль наконец решила вмешаться:

– Чего ты боишься, Бешир? Не отрежет же он тебе кусок головы.

Одного слова Нихаль было достаточно, чтобы все страхи Бешира улетучились. Он опустился на колени и покорно подставил голову Бюленту. Но Бюлент так хохотал, что не мог ничего делать... Каждый раз, когда Бешир извивался от щекотки и вжимал голову в плечи, умоляя: «Ну, пожалуйста, мой маленький господин!», от смеха пальцы Бюлента разжимались, и, ухватившись рукой за живот, он катался со смеху.

Поодаль мадемуазель де Куртон задумчиво с неопределенной улыбкой на губах поглядывала на Бешира, она смотрела на него вероятно для того, чтобы не слушать Бехлюля, который, разливаясь мыслью по древу с праведным негодованием, пересказывал ей скабрёзную историю, о которой со всеми грязными подробностями писали в последних парижских газетах:

– Ох, французы переживают ужасную эпоху, мадемуазель! Уверяю вас, вы вовремя покинули Францию. Тому, у кого в жилах течет хоть капля благородной крови, невозможно оставаться равнодушным к таким мерзостям!

Это было одно из самых приятных развлечений Бехлюля. Он пересказывал деликатной старой деве все откровенные истории, которые читал, все фривольные комедии, которые видел, добавляя к ним всевозможные морализаторские комментарии, и веселился, наблюдая, как она мучается и как ее бледное лицо покрывается стыдливым румянцем.

Нихаль в беседке пыталась показать Джемиле новый узор, который она только что выучила. Нихаль была так устроена: когда у нее не хватало терпения выучить что-то как следует, она выучивала это, объясняя Джемиле. Это был довольно сложный узор из разноцветных ниток, скрепленных бусинами размером с горох: мадемуазель де Куртон нашла его в одном из последних женских журналов. Предполагалось связать этим узором салфетку на столик для сигар. Нихаль пыталась вязать сама, попутно показывая Джемиле.

– Теперь, – объясняла она, – мы добавили желтый и красный, нужно пропустить нить через бусину, потом рядом проложим синий и зеленый.

Она позвала сидящую напротив мадемуазель де Куртон:

– Так, мадемуазель? После желтого и красного – синий и зеленый? Ох, ничего хорошего не выходит, мне уже надоело, сейчас закончу этот ряд и передам Джемиле.

Мадемуазель де Куртон подошла к ним, чтобы посмотреть на сочетания цветов, а на самом деле, чтобы избавиться от необходимости слушать Бехлюля. Бехлюль подбежал к Бюленту и отобрал у него машинку для стрижки. Бюлент криво-косо постриг Бешира, притомился, и ему было лень доводить дело до конца. Джемиле, воодушевленная тем, что ей должны поручить важную задачу, повернула свое круглое личико и, стараясь не пропустить ни слова, слушала разъяснения, которые старая гувернантка давала Нихаль.

Над садом витал туман, все еще не рассеявшийся после жаркой августовской ночи, над беседкой плавал, словно задыхаясь под опустившейся на него пеленой, густой аромат жимолости, желтых роз, жасмина, гвоздик и левкоев, цветущих в саду. Фындык – белый кот, вышедший сегодня на прогулку в сад вместе с Нихаль, опасливо протягивая лапку, дотрагивался до

лежащих на земле состриженных черных кудрей Бешира, пытаюсь понять, что же это такое, под крышей беседки кругами летала жужжащая пчела, опьяневшая от запаха цветов, пара воробьев, напуганных бабочками, сновали туда-сюда в углу сада.

Умиротворение и безмятежность раскрыли свои крылья над садом, словно оберегая и убаюкивая этот счастливый мирный уголок.

С того памятного дня о важном событии на ялы как будто позабыли. Никто о нем не упоминал. Даже головная боль, которая началась в тот день у Шакире-ханым, утихла, и она сняла йемени⁵⁵, который повязывала вокруг головы. Только один раз заговорили о том, что наверху нужно поменять спальные комнаты. У Нихаль спросили, не будет ли она против, если их спальню и комнату для занятий объединят, а четвертую комнату освободят. Нихаль только кивнула в знак согласия. Потом и это было забыто, и ни она, ни окружающие об этом больше не упоминали. Нихаль была словно в сладком сне. Убедив себя, что больше ничего не произойдет, она ни о чем не думала. Она ластилась к отцу еще больше, чем прежде, хотела, чтобы он занимался только ею.

Наконец однажды на ялы началась большая суматоха, к пристани причалила баржа. Поднялся шум и грохот, с баржи разгружали какие-то вещи. Нихаль подбежала к окну. Это был гарнитур для спальни.

Это был очень красивый гарнитур из кленового дерева. Нихаль все поняла. Теперь было совершенно очевидно, что изменения в спальнях связаны с прибытием этого гарнитура. Не желая больше ничего видеть, она убежала в сад.

Целых два дня гарнитур стоял в холле на втором этаже. Аднан-бей ждал, что Нихаль будет задавать вопросы, но вот уже два дня Нихаль проходила мимо этой горы мебели, заполнившей весь холл, словно не замечая.

Сегодня, когда мадемуазель де Куртон сказала:

– Нет-нет, синий и зеленый совершенно не сочетаются, нужно подобрать другие цвета. – Нихаль вдруг ни с того ни с сего спросила:

– Мадемуазель, почему не освободили комнаты? – Старая дева подняла голову и посмотрела на нее. Вопрос прозвучал так неожиданно, что она растерялась. – Мы можем освободить их сегодня?

Мадемуазель де Куртон после некоторого колебания ответила:

– Да, но потом придут рабочие, будут менять занавески, комнату...

Она не закончила предложение. Она собиралась сказать: комнату отремонтируют...

– Еще многое нужно сделать. Чем оставаться в этом шуме и пыли... Ведь мы еще не ездили в этом году на острова, не так ли, Нихаль? Может, нам все-таки поехать к твоей тете, погостить пару недель...

Эта идея давно пришла в голову мадемуазель де Куртон. Она то и дело заговаривала об отъезде. Когда-то именно так она увезла Нихаль, чтобы та не видела, как умирает мать, теперь же она хотела, чтобы Нихаль не видела, как место ее матери займет другая женщина. Нихаль, надувая губки, всегда отрицательно качала головой. Она боялась, что, стоит им уехать, и здесь обязательно что-то произойдет, и это событие полностью отберет у нее отца. Сейчас она согласилась без колебаний:

– Бюлент и Бешир поедут с нами, хорошо? Если так, то поедем сегодня, сейчас же. Только подождем, пока освободят классную комнату, тогда... Тогда пусть делают что хотят.

Бюлент, воодушевленный тем, что после последней попытки у него что-то стало получаться, снова почувствовал интерес к парикмахерскому делу, но как только он узнал, что комнаты освободят и они поедут на острова, моментально забыл о Бешире. Схватив красную феску, он стал вертеть ее за кисточку и кричать:

⁵⁵ *Йемени* – головной платок из легкой вышитой ткани.

– Великое переселение! Великое переселение! Мы едем на острова, мы будем кататься на осликах! – Потом подбежал к сестре, обнял и, умоляюще глядя на нее, спросил:

– Будем кататься на осликах, правда, сестра? Я уже не упаду. Тогда я был маленьким, а сейчас уже большой.

Он вытянулся в струнку, стараясь казаться выше. Бюлент увлек всех своим ураганным весельем, и все помчались в дом.

Аднан-бею доложили: «Комната освобождается, дети едут на острова к тете». Когда мадемуазель де Куртон говорила об этом, казалось, что их с Аднан-беем глаза ведут другой диалог на своем, только им понятном языке. Аднан-бей молча, тихонько привлек к себе Нихаль, смотревшую ему в глаза, вероятно, он собирался поцеловать ее в знак благодарности. Не поцеловал, что-то в поведении Нихаль остановило его: казалось, ей не хотелось, чтобы ее целовали за то, что она освободит комнату, уедет на острова, избавив ялы от своего присутствия.

Бюлент сходил с ума от радости: Шайесте, Несрин, Бешир, все слуги, воспринимавшие поначалу все происходящее с холодной обреченностью, не смогли не заразиться весельем ребенка. Чтобы выкатить пианино из комнаты в холл, Бюлент продел шнур от занавески в кольцо пианино, и они тянули его, как бурлаки баржу вдоль берега, Бюлент же орал во весь голос:

– Посторонись! Прочь с дороги! Уберите старые туфли мадемуазель, мы их все передадим!

Несрин уже не могла тянуть, у нее даже коленки подгибались от смеха, задыхаясь, она говорила:

– Ох, мой дорогой, не смешите, а то мы так никогда не закончим.

Шайесте, пользуясь минутной передышкой, бранила Несрин, словно на что-то намекая:

– Несносная девчонка! Что тут смешного! Нашла время веселиться!..

Бюлент вспотел и был весь в мыле. Пока Шайесте выносила скамейку, а Несрин освобождала ящики письменного стола, он повис на конце занавески, которую с трудом волочил Бешир, и вопил:

– Дорогу, уступите дорогу, дайте дорогу грузчикам, чтобы они вас не задели!

Нихаль вдруг надоело слушать крики Бюлента, она погрузилась:

– Поедем! Поедем скорее отсюда!

Она хотела быть подальше отсюда, от этого дома, словно бежала от человека, который ее предал.



Пятнадцать дней они провели на островах. Здесь все было как будто позабыто, но мадемуазель де Куртон понимала: затаенная боль потихоньку расцарапывает душу Нихаль, девочка чего-то ждет, но не хочет об этом говорить, понимала по тому, что Нихаль еще больше, чем всегда, не могла устоять на месте. Сегодня утром они снова, поддавшись на настойчивые уговоры Бюлента, согласились поехать на прогулку на осликах. Они собирались сделать полный круг по дороге, опоясывающей остров. Мадемуазель де Куртон и Нихаль терпеть не могли кататься

на осликах, они сидели в двуколке, принадлежащей тете. Бюлент и Бешир, чтобы поспеть за ними, подгоняли осликов криками. Над красной феской Бешира образовалось белое облачко пыли. Тонкие русые волосы Бюлента под феской прилипли от пота ко лбу и вискам, его пухлые щечки покраснелись.

Нихаль и мадемуазель ехали очень медленно, чтобы не оставлять всадников далеко позади, и слышали за собой голоса мальчиков и цокот копыт маленьких осликов. Время от времени Бешир отставал и тоненьким, нежным голоском, присущим абиссинцам-скопцам, кричал:

– Мой господин, не гони так, упадешь, подожди меня! – тогда Бюлент окликал сестру:

– Стойте, подождите немного! Я не могу сдержать своего ослика.

Мадемуазель де Куртон брала вожжи из рук Нихаль и, отъехав на обочину, чтобы не мешать редким прохожим, останавливала двуколку. Они снова остановились и ждали всадников, потерпевших очередную аварию. На этот раз Бюлент уронил свой хлыст, Бешир спешился и пошел его искать.

День на острове обещал быть жарким, в бескрайней голубизне небосвода витал тяжелый туман. Казалось Стамбул, видневшийся вдалеке со своими минаретами, куполами мечетей, зелеными рощами на вершинах холмов, дрожал в пенной дымке над морем.

С самого утра они не обменялись ни словом. Нихаль обернулась и смотрела на ослика Бешира, который медленно брел, брошенный всадником на произвол судьбы. Вдруг впервые за пятнадцать дней она спросила у мадемуазель де Куртон:

– Когда мы поедем домой?

– Когда вам угодно, дитя мое!

Нихаль взглянула на старую деву и сначала не смогла сдержать возглас удивления:

– Уже? – Потом, помедлив, добавила: – Значит, мы можем уже ехать. Все уже произошло?

Жизнь Нихаль была ограничена определенным кругом, все, что знала о жизни, она знала от отца, гувернантки, из книг и случайно подслушанных разговоров своих нянь. Она знала не больше того, что знают двенадцатилетние дети, у которых нет более просвещенных друзей. Ее знание жизни было ограничено тем, что она услышала мимоходом, видела по дороге, когда они ехали в экипаже, и теми запутанными умозаключениями и смутными догадками, которые она делала из виденного и слышанного. Узнав, что в доме появится женщина, она не думала о том, что это значит, и испытывала только эмоциональную печаль, только нервное раздражение. Она не оценивала происходящее сознательно. Ее чувство точнее всего можно было бы назвать ревностью. Она ревновала к этой женщине всех и все, особенно отца, Бюлента, потом Бешира, всех домочадцев, сам дом, вещи, даже себя. Эта женщина, оказавшись среди тех, кого она любит, украдет их, отберет у нее; да, как это будет, она толком не знала и, честно говоря, не думала над этим, но в душе она это чувствовала, когда она придет, она сама уже не сможет любить тех, кого любила, так же, как любила раньше.

Когда стало известно о помолвке, обитатели дома, чтобы не сболтнуть при Нихаль чего лишнего, стали избегать ее, стоило Нихаль войти в комнату к Шакире-ханым; Шайесте, присевшая перед той на корточки и что-то рассказывающая, вдруг замолкала на полуслове; Несрин то и дело глубоко вздыхала и охала; все окружающие явно что-то скрывали. Значит, что-то должно произойти, но она не понимала, что, даже сияющие глаза на круглом личике Джемиле указывали на то, что маленькая девочка знает больше, чем Нихаль.

Сначала из любопытства, которого не могла унять, она упрямылась и, несмотря на настойчивые уговоры мадемуазель де Куртон, не хотела ехать на Бююкада. Она хотела присутствовать в доме, быть свидетелем происходящего, как летописец стремится находиться там, где происходят важные исторические события, желая видеть все своими глазами во всех подробностях. Она ни у кого ничего не спрашивала, ни с кем ничего не обсуждала, хотела только увидеть и понять. Но в тот момент, когда она узнала, что в их комнате все переделают, что туда поста-

вят этот прекрасный кленовый гарнитур, у нее не осталось больше сил ждать, чувствуя себя побежденной уже в этом первом сражении, она захотела убежать.

Вот уже пятнадцать дней она чувствовала себя так, будто где-то далеко на смертном одре мучился близкий ей больной человек, и она физически ощущала его боль, но не могла вмешаться, боясь, что, если скажет хоть слово, тем самым только приблизит его конец. Она пожалела, что согласилась поехать на остров. Она должна была быть там, на ялы, присутствовать при этом. В сердце ее был страх, ей казалось, когда они вернутся, ялы, отец, все-все исчезнут, словно их унесет ветром. Если бы она там осталась, этот ветер бы не подул, этот ветер ничего бы не смог сделать.

Кроме того, где-то в глубине души она сердилась на отца. Всегда, когда они уезжали на острова, он то и дело приезжал, иногда оставался на несколько дней. В этот раз он не приехал ни разу и даже не послал никого узнать, как они. В последние дни мадемуазель де Куртон совсем не упоминала об отце.



Аднан-бей хотел как можно дольше откладывать возвращение детей, Бихтер же, напротив, каждый день спрашивала о них:

– Велели бы вы их уже привезти! Если бы вы знали, как мне хочется видеть их.

На самом деле Бихтер тоже боялась первой встречи с детьми. Она была убеждена, что от того, какое впечатление она произведет, зависит, как сложатся их отношения в дальнейшем.

Сегодня Аднан-бей впервые после свадьбы собрался ехать в Стамбул, он прощался с Бихтер, целуя ее волосы. Молодая женщина попросила:

– Сегодня вы пошлете им новость, хорошо?

Вдруг внизу лестницы они услышали веселый детский смех. Аднан-бей остановился:

– А вот и они! Это Бюлент смеется... Теперь вы будете слышать это с утра до вечера.

Бюлент взбежал по лестнице, он спасался от своих преследователей – Шайесте и Несрин. Он сразу бросился к отцу, обнял его крошечными ручонками, его губы доставали только до жилета отца. И он целовал, целовал, целовал этот белый в мелкий синий цветочек пикейный жилет, он так соскучился за пятнадцать дней, что сейчас его эмоции переливались через край, потом вдруг остановился, посмотрел на улыбающуюся женщину перед собой и вопросительно взглянул на отца.

Он ждал ответа, распоряжения – как вести себя с этой женщиной. Аднан-бей только сказал:

– Это твоя мама, Бюлент, не поцелуешь ее?

Тогда Бюлент, возможно просто потому, что детям нравятся ластиться к красивым, элегантным, молодым женщинам, кивнул, шагнул к ней, доверчиво подал ей обе руки и потянулся губами к нежным губам красавицы матери, подставленным для поцелуя.

Нихаль и мадемуазель де Куртон в этот момент поднимались по верхним ступеням лестницы. Аднан-бей, чтобы оттянуть самый трудный момент, сначала обратился к гувернантке:

– Бонжур, мадемуазель! Наконец-то вам надоела старая тетка. Нихаль, ты не скажешь мне «бонжур»?

Нихаль смотрела на Бюлента, который стоял рядом с Бихтер и, улыбаясь, отвечал на ее вопросы. В сердце у нее что-то надорвалось, она отвела глаза, подошла к отцу, протянула маленькую тонкую руку. Аднан-бей взял эту руку, сжал ее, словно хотел попросить прощения, и потихоньку притянул Нихаль к себе. Сначала они обменялись коротким поцелуем, потом, неизвестно как это получилось, вдруг, повинувшись душевному порыву, Нихаль снова обратила к отцу тонкое личико и поцеловала его в то место под подбородком, где заканчивалась борода, туда, куда она его обычно целовала.

Бихтер подошла к ним. Аднан-бей сначала представил ей мадемуазель де Куртон.

Старая дева и молодая женщина обменялись приветствиями. Бихтер сделала еще шаг и улыбнулась, и тепло этой улыбки словно растопило лед первой встречи, согрело душу Нихаль. Бихтер ласково положила руку на плечо девочки, взяла за руку и обняла ее хрупкую фигурку. Девочка замерла, коснувшись головой груди Бихтер: тонкий нежный аромат фиалок пьянил Нихаль, словно свежий весенний воздух. Значит, вот она, та женщина, которой она так боялась, та, что представлялась ее наивной несчастной душе страшной неотвратимой катастрофой, которая уничтожит Нихаль, – эта молодая, красивая, улыбающаяся женщина, прекрасная, как букетик фиалок, нежный аромат которого источала ее кожа. Неужели это она? Благоухание весны словно витало вокруг нее и затягивало в себя Нихаль. Не отрывая головы, она подняла глаза и посмотрела на Бихтер, та улыбалась. Ее душа, согреваемая этой пленительной улыбкой, покорно потянулась к Бихтер. Нихаль, немного растягивая слова, певучим голосом сказала:

– Вы будете меня любить, ведь так? Невозможно, чтобы вы меня не полюбили. Я буду вас очень любить, так любить, что и вы меня наконец полюбите.

Вместо ответа Нихаль подставила ей тонкие губы, и Бихтер склонилась к ней. Эти два существа, которые должны были стать друг другу врагами, нежно поцеловались и в одну минуту стали друзьями. Да, они сразу стали друзьями. Нихаль словно очнулась от кошмарного сна. Когда они поднимались вверх переодеться, она тихонько сказала мадемуазель де Куртон:

– Какая она красивая, не правда ли, мадемуазель? Ох, я думала...

Бюлент нес венок, сплетенный из сосновых веток, он привез его с острова с большой осторожностью и собирался повесить на книжный шкаф. Он побежал впереди сестры и гувернантки в сторону классной комнаты, ему хотелось как можно скорее завершить свое дело. Он толкнул рукой дверь и вдруг издал долгий удивленный крик:

– А-а-а-а!

Они и думать забыли, что комнаты поменяли. Влекомые непреодолимым любопытством, Нихаль и мадемуазель де Куртон последовали за Бюлентом. Бюлент замер посреди комнаты: глазам не верилось, что недавно стены этой комнаты были сплошь исчерчены карандашом и на них красовались рисунки кораблей; не может быть, чтобы это была та самая классная комната, в которой никогда нельзя было навести порядок. Он стоял и не знал, куда же в этой изящной спальне ему повесить сосновый венок, который он держал в руках.

Нихаль и гувернантка тихонько вошли за ним.

– Пойдемте в нашу комнату, сюда не следует входить, – сказала мадемуазель де Куртон, но и сама не уходила – так ей хотелось посмотреть. Нихаль огляделась, сначала увидела окна. Из-под полуштор, в нескольких местах перетянутых и приподнятых, из голубого атласа довольно холодного оттенка, так что казалось он прячется за белым облаком, лились белые тюлевые занавески, они стекали вниз и застывали пенными кучками на неярком ковре – такие ковры изготавливались в Куле под влиянием последней западной моды. Под лучами солнца, которое щедро проникало сквозь настезь распахнутое окно с решетчатыми ставнями, эти занавески были похожи на белый пенящийся водопад, струящийся с голубых гор. Стены были выкрашены в тот же оттенок светло-голубого, потолок вдоль стен украшен тонкими жел-

тыми карнизами, которые контрастировали с цветом атласа, в центре потолка висела люстра из разноцветного стекла, которую можно было бы принять за светильник из древнего храма; в углу, где в свое время стояло пианино Нихаль, теперь была кровать, с потолка, протянутый через большое желтое кольцо, спускался полог из атласа и тюля; прямо напротив между двумя окнами туалетный столик; сбоку зеркальный шкаф, дверь которого по забывчивости была оставлена полуоткрытой, длинная оттоманка, под светло-голубым, снова в тон, абажуром напольная лампа, небольшой круглый столик на одной ножке, малюсенький подсвечник и несколько книг; прямо напротив зеркального шкафа портрет отца в полную величину, выполненный карандашом...

Вот что увидела Нихаль в первую очередь... Бюлент повел себя смелее других, он прошел в комнату, осмотрел туалетный столик и перетрогал всевозможные мелочи на нем, немного склонившись, заглянул с опаской в зеркальный шкаф, словно ждал, что оттуда сейчас кто-то высунет голову, и сопровождал все увиденное удивленными возгласами.

Мадемуазель де Куртон хотела увести Нихаль, но той вдруг пришла мысль в голову, и она прошла в комнату. Она хотела пройти не по коридору, а через межкомнатную дверь. Она отвела рукой занавеску от двери:

– О, мадемуазель, вашей комнаты тут больше нет!

Мадемуазель де Куртон, немного замаявшись, ответила:

– Да, дитя мое, разве тебе не сказали? Я перееду в первую комнату, в прежнюю комнату господина. Но мы теряем время. Вы все еще не переделались.

Нихаль была бледна как полотно. Она ничего не ответила. Бюлент схватил забытый на канаве легкий палантин из крепа с белыми лентами, смяв его, чтобы не наступить, накинул себе на плечи, прищурил свои узкие глазки и, кокетничая, расхаживал в нем по комнате. Мадемуазель де Куртон наконец почувствовала необходимость проявить строгость и положить этому конец. Стянув с плеч Бюлента шарф, она строго сказала:

– Ах, озорник! Вам тысячу раз говорили, нельзя трогать чужие вещи.

Бюлент, хихикая, ответил:

– Да, вы правы, мадемуазель! Об этом даже в учебниках пишут, не так ли?

Нихаль прошла дальше через комнату. Она повернула ручку межкомнатной двери, которая вела в их комнату. Дверь не открылась. Не говоря ни слова, она вернулась. Гувернантка потянула Бюлента за руку, и все вместе они вышли в коридор. Нихаль толкнула дверь в их комнату, сделала шаг вперед и на этот раз сама не смогла сдержать возглас удивления. За ней ураганом в комнату ворвался Бюлент:

– Это что? Боже, сестра! Это наша комната? Как красиво! Как нарядно! И пологи у кроватей новые? В книжном шкафу поменяли стекло, покрасили... Смотрите, и на письменном столе... Убрали все, что я вырезал! А шторы! О-о-о! У нас тоже теперь шелковые шторы и занавески! – Вдруг взгляд Бюлента привлекла бумага с огромными буквами, приколотая иголкой на свежескрашенную стену:

– Ничего себе, мадемуазель, что это?

Нихаль, увидев совершенно изменившийся облик комнаты, повеселела, беспокойство на ее лице сменилось улыбкой, она любовалась спускавшимся с купола железной кровати белым пологом, перевязанным голубыми лентами. Нихаль прочитала надпись на бумаге, которую показал Бюлент, она гласила: «Рисовать на стене корабли и человечков запрещено!»

– А-а, это старший брат, это его рук дело! – В глазах Бюлента мелькнул озорной огонек. – Так значит верблюдов рисовать можно, не так ли, сестра?

– Отныне Бюленту не давать карандаш, – пригрозила мадемуазель де Куртон. – Теперь нужно держать комнату в чистоте, все ненужные игрушки тоже выбросим. Теперь Бюлент будет дома очень аккуратным молодым человеком. Надеюсь, вы не забудете сегодня вечером поблагодарить господина за эту красивую комнату, Нихаль.

Нихаль ничего не ответила.

Глава 5

Мадемуазель де Куртон говорила:

– Вы напрасно так упрямитесь, Нихаль! Вот уже целый час вы разучиваете одно упражнение Черни. Откуда такое рвение? За шесть лет я ни разу не видела, чтобы вы полчаса без перерыва занимались. Вам не стоит так утомляться.

Нихаль резко развернулась на вращающемся табурете.

– Вы странная, мадемуазель! Вы же сами говорили мне, что нельзя научиться играть на пианино, не упражняясь. Стоило мне почувствовать желание работать, и тут новое правило!

С тех пор как они вернулись с островов, вопреки обыкновению у Нихаль время от времени не получалось совладать со своими нервами, и она начинала дерзить гувернантке. Старая дева на эти нападки отвечала только укоризненным взглядом. Сегодня она сказала:

– Нихаль, прошу вас, будьте благоразумны. Вы хотите играть на пианино? Но целый час повторять одно и то же упражнение бессмысленно, вы только устанете.

Нихаль продолжала нападать:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.